

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

ПОНТИФИК ИЗ
ГУЛАГА

Сергей Алексеев
Понтифик из Гулага

«Алексеев Сергей»

2015

Алексеев С. Т.

Понтифик из Гулага / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей»,
2015

Этот роман вынашивался автором всю сознательную жизнь, в течение последних восьми лет его замысел и вовсе не давал покоя, каждый год пробуя воплотиться в слово новым началом. А воплотился чудесным образом, всего за 22 дня, на одном дыхании. Революция 1917 года намеревалась разрушить мир насилия и несправедливости, но разрушила мироустройство. Закрылись ограбленные властью храмы, перестали звонить колокола, и невозможно стало отделить мир живых от мира мёртвых, рухнули мосты, разъединяющие тот и этот свет, чёрное смешалось с белым. Главный герой, виолончелист и недавний узник Гулага, ныне именуемый светским Патриархом, до сей поры живёт между мирами и пытается завершить начатую в лихие революционные годы симфонию "Звон храмовых чаш"...

© Алексеев С. Т., 2015

© Алексеев Сергей, 2015

Содержание

1	5
2	14
3	24
4	32
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Сергей Алексеев

Понтифик из ГУЛАГа

1

Привыкший бороться с насилием, Патриарх не терял охоты к сопротивлению, даже когда притомился от бесконечной дороги и в какой-то момент ощутил полное равнодушие ко всему, что с ним происходит, в том числе и к своим похитителям. Если взяли, чтобы банально расправиться, убить, то это маловероятно. Кончить его могли сорок раз, но всегда берегли, как зеницу ока, кто бы ни подступался. А похитители вовсе не выглядели отморозками и хулиганами, скорее, профессионалами, исполняющими заказ. Ничего не требовали, не спрашивали и вели себя вполне миролюбиво.

Пока везли с открытыми глазами, и пока была ночь, Патриарх считывал названия тёмных, призрачных деревень на простреленных дробью указателях и старался хотя бы понять, в какую сторону едут, по какому направлению от столицы. Однако ничего знакомого не попадалось, всё больше какая-то нелепица вроде населённого пункта Шары или Шоры, где они крутились часа два, вероятно, заплутав на многочисленных перекрёстках и распутьях. Да и везли хоть и быстро, но всё какими-то вёрткими, кривыми путями или вовсе долго и нудно трясучими просёлками, объезжая посты ГАИ и крупные населённые пункты.

Он ни на минуту не смирился со своим положением, по сути, пленённого, однако внешне и не противился: даже в столь критический час всё ещё ликовала душа – успел, свалил с себя бремя, некогда помимо воли на него возложенное! Успел избавиться от ноши, которая неотвратимой обузой лежала на плечах лет семьдесят и уже приросла к плоти, давно стала частью его существа, однако, как всё нежелательное, вызывающее чувство несвободы и отвращение, отделилась легко и безболезненно. Патриарх физически ощутил, как не по-старчески распрямилась спина, расправились плечи, и сама собой вскинулась голова. Теперь его ничто не связывало с прошлым, с юностью и молодостью – ни грехи, ни заслуги, и он испытывал одно непреходящее, окрыляющее состояние – чувство исполненного долга.

Оно, это чувство, распирало его изнутри, придавало такую невероятную подъёмную силу, что он вспомнил о незаконченной симфонии «Звон храмовых чаш» и ощутил желание её завершить. Он будто скинул с себя вяжущие движения, оковы, и произошло это в тот момент, когда к нему наконец-то явился долгожданный человек, преемник, которому он завещал всё своё прошлое состояние и, избавившись от груза наследия, наконец-то почувствовал волю. Теперь ничто не могло поколебать его утвердившегося равновесия в пространстве, даже вот это похищение неизвестными людьми. Дело всей жизни было сделано, сыграно до последней ноты, а теперь пусть происходит всё, что угодно, можно и смерть встретить достойно, с открытым лицом и душой. Но прежде побороться за жизнь, схватиться с незримым противником, испытать его силу и одновременно извлечь из этой ситуации что-то полезное.

Полезного же получалось даже очень много! Завтра помощники хватятся, установят, что его похитили, и поднимут такую волну – всем тошно станет. Телеканалы и газеты взорвутся от негодования, его имя опять поднимут, как знамя борьбы с насилием и несправедливостью в государстве. А то что-то успокоились, обвыклись, стали забывать, благодаря кому полностью изменился облик власти и отношение к человеку, как к личности.

Если бы не случилось этого похищения, его надо было придумать, инсценировать!

Потом, с рассветом, похитители завязали глаза шарфом и вздумали ещё сверху натянуть плотный шерстяной чулок, однако заспорили между собой, кому это сделать сподручней. Обоих что-то смущало, один и вовсе советовал оставить только шарф, мол, всё равно прове-

рять не станут, как везли, но второй настоял и сам принялся надевать ему на голову этот злосчастный чёрный чулок. Он оказался настолько тесным, что сразу перехватило дыхание, и Патриарх инстинктивно стал отпихивать руки, вертеть головой, однако похититель бесцеремонно натянул его до самого горла.

– Ну, и как тебе дышится, старче? – ещё и спросил заботливо, незлобиво, однако со скрытой издёвкой.

От чулка пахло женским потом, одеколоном и детской тальковой присыпкой – редким сочетанием запахов, которые он помнил всю жизнь, узнавал и сейчас встревожился, ибо вспомнил двоюродную племянницу Гутю. Эта смесь запахов показалась ему мерзкой, признаком чужой грязи и нечистоплотности. Тем паче, всякая участливость похитителей раздражала его, и пренебрежительное молчание тоже стало бы сопротивлением, но в какой-то момент его провало. Скорее, от мерзкого запаха и удушья.

– Вы сволочи и подонки! – заругался он. – Кто вам позволил так обращаться с пожилым человеком? Со старцем? Я ровесник двадцатого века!..

И поймал себя на том, что ругается по-польски, на языке, почти забытом. Да ещё как-то нелепо, невыразительно, без крепких слов и оборотов. Похитители не вняли, но перекинулись несколькими фразами:

– Это он на каком говорит?

– Вроде, чешский, что ли...

– Нет, кажется, хохляцкий.

– Давай спросим?.. Эй, ты что там сказал?

Патриарх оттянул липучую ткань от лица, подавил рвотный позыв и ответом их не удостоил.

Всё происходящее сначала воспринималось как розыгрыш или дурной сон, несовместимый с реальностью, хотя чего-то подобного он всю жизнь ждал и допускал, что его могут даже похитить. И всё из-за этого наследства, обузы, от которой он успел избавиться. Как у человека, пережившего на свете несколько эпох, у него было довольно врагов, но все они остались в далёком прошлом. Даже самые злейшие давно сгнули, иные и вовсе выпали из памяти. По прошествии многих лет вспомнишь имена, и вместо чувства неприятия – ностальгия, тоскливое тепло по сердцу. Да это разве же враги?!

Патриарх был в том положении и возрасте, когда отпадают хлопоты о чести и славе, порождающие вражду и сеющие ненависть. Когда всё, что с тобой ни происходит, только на пользу, всё во благо – и добро, и творимое тебе зло. В последние десятилетия он стремительно обрастал друзьями, и окружающие – молодые, старые люди, простые и высокопоставленные – непременно желали только дружбы, отчего в глаза и за глаза называли Патриархом, иногда добавляя слова «светский» или «культурный». Это звучало не как прозвище – как почётное звание для уважаемого старейшины, в силу собственного неспящего характера не заслужившего иных, официальных, чинов и регалий.

Правда, ему впопыхах пожаловали несколько лауреатских званий и даже Госпремию дали за вклад в культуру, но это уже не соответствовало его возрасту, положению, заслугам и никак не прирастало к жизни. Он сам отлично понимал формальную ценность государевых наград, не обольщался и принимал их, как публичные извинения, жертвы или даже как покаяние власти. Оставшиеся в живых близкие друзья в ответ на запоздалое движение системы поворчали, выразили неудовольствие и настойчиво советовали не принимать почестей или, ещё лучше, демонстративно отвергнуть их. Особенно настаивали чёрные вдовы со своим вечно юным максимализмом. Но это бы выглядело дешёвым позёрством. Ко всему прочему, Патриарх считал, что нельзя бесконечно играть на протестных нервах, мордовать власть, не принимать её жертв и покаяний, если они приносятся искренне. В общем, получился даже не спор, не разногласие, а скорее, обмен мнениями, принципиальными точками зрения. В любом случае, зависти ни у

кого не было точно, даже у юных, тщеславных друзей, и это уж никак не могло стать причиной хорошо спланированного, с иезуитским душком, похищения: можно сказать, открытым текстом предупредили, прежде чем выманить из квартиры. И в машину сел сам!

Личной охраны у Патриарха не было, хотя при желании она бы появилась безусловно, однако жил он на площадке с одним из вице-премьеров, и стража стояла в подъезде соответствующая. Однако, вечером позвонили из Комиссии по помилованиям, попросили спуститься на минуту и подписать ходатайство. Вызывали его таким образом довольно часто, и, в основном, по делам неотложным или шепетильным, когда требуется уединённый разговор без чужих ушей. А тут час был поздний, выходить в знобкий, дождливый вечер желания не наблюдалось, и он попросил вкратце изложить суть дела.

Здесь и прозвучало скрытое предупреждение, от которого он даже не насторожился, хотя сказали чуть ли не открытым текстом: дескать, произошло похищение человека, за что добропорядочный гражданин теперь мотает срок. И фабулу изложили, мол, некий родитель отчаялся заполучить свою дочь законным образом, выманил куклой из дома, увёз и спрятал. Тогда ещё редко похищали людей вообще, тем паче, из меркантильных соображений, париться на нарах за своего ребёнка было несправедливо. По телефону слишком навязчиво торопили: завтра, мол, заседание Комиссии и на подпись, а к чёрным вдовам обращаться по такому делу бессмысленно, они примут сторону обиженной матери. Выходит, светский Патриарх – последняя, решающая инстанция, авторитетная для главы государства. И ещё ему хотелось своей подписью подразнить двух строптивых и непокорных бабок Ёжек. Приехать завтра в офис и сказать, дескать, а я вчера мужика освободил из тюрьмы...

Чёрными вдовами называли ближайших его друзей и помощниц, в прошлом убеждённых феминисток или, проще говоря, двух одиноких и несчастных старух, которых он в шутку и ласково именовал бабками Ёжками.

И вот везли его всю ночь в неизвестном направлении, потом ещё часа полтора, уже с завязанными глазами и с вонючим чулком на лице. Дорога виляла в незримом пространстве, проезжали какие-то деревни, поскольку мычали коровы и визжали свиньи, затем дружно, разом заголосили петухи, и всё остановилось, смолкло. Патриарха поспешно вывели и положили на обочину сельской дороги с глубокими колеями.

– Лежи тут и жди!

– Может, привязать к дереву? – стали советоваться между собой. – Шустрый ещё старикан! Думал, живым не довезём!..

– Куда денется? Поехали отсюда! Что-то не по себе...

– Хоть руки-ноги спутать? Старая закалка, такие из гроба встают!..

– Не наше дело. Сказано, оставить здесь. Поехали!

– Лежи смирно, – последовал приказ над самым ухом, – и повязку не снимай, ослепнешь без привычки.

– Вы куда меня привезли? – впервые за всю дорогу спросил Патриарх.

– На тот свет! – уже на ходу ухмыльнулся похититель. – Сейчас за тобой прилетят. Ангелы с херувимами!..

И торопливо унеслись в незримое пространство.

Мысль бежать, как только выпадет возможность, тряслась в голове всю дорогу, вместе с жадой противления насилию, а тут вспыхнула ярко – вот он, случай! Патриарх в тот час сорвал с лица чулок, сдёрнул шарф и зажмурился от яркого, вышибающего слезу света. Солнца не было, а перед глазами плыли режущие красные пятна, чёрные мушки и длинные, яркие искры, словно от выстрелов во тьме. Повязка, в общем-то, была не чёрная, не глухая, так чтобы успел за несколько часов отвыкнуть, серенький сумрак всё же пробивался, а тут резануло так, словно на полуденное солнце посмотрел или на электросварку в темноте. Он вспомнил, когда в последний раз видел свет такой силы и нестерпимой яркости – в двадцатых годах, когда учился

в консерватории, и когда после мрачных, пасмурных дней в Москве по секретной директиве Троцкого на три дня разрешили звонить во все колокола.

Он так же стоял у окна и плакал от яркого света.

Но это оказалось лишь началом: следом за слезами в три ручья хлынула огненная, нестерпимая боль, которой он не испытывал тогда, в вибрирующей от колоколов Москве. Несколько минут Патриарх стоял на коленях, едва сдерживаясь от крика, и только стонал, уткнувшись головой в землю. Давление на глазные яблоки было настолько сильным, что чудилось, глаза сейчас выкатятся на траву. Мерцающие болезненные вспышки колотились в черепной коробке, отдаваясь в уши и, как ни странно, в корни несуществующих зубов: у него давно стояли вкрученные стальные штифты, на которых крепились фарфоровые коронки. Патриарх стиснул их так, что услышал стеклянный хруст, однако это внезапно помогло, пламя боли мигнуло в последний раз и погасло.

Не отнимая рук от лица, он опустил на живот, сунулся лицом в траву и расслабился. Остатки недавней боли курились дымком и бесследно таяли где-то над головой. И пока кряхтел и катался, потом привыкал, промаргивался, чтоб осмотреться, услышал рядом дребезжащий, неприятный скрип, затем фыркнул конь, лязгая удилами.

– Вот должно и наш пострел, – определил натуженный, сиплый голос. – Глянь, похож – нет?

– Да вроде, – согласился другой, с булькающей низким баритоном. – Твоя фамилия товарищ Станкевич?

– Говорить не хочет, – при этом щёлкнул кнут. – Гордый, должно быть, товарищ...

– Чего молчишь? Открой лицо-то!.. Станкевич или нет?

В последнее время Патриарх редко слышал свою фамилию и относился к ней, как к собственной истории, однако же кем-то написанной и потому очуждевшей.

– Похоже, ослеп, – было заключение булькающего. – Ишь, молчит и только глаза трёт... Для него наш свет не мил.

– Ослеп, да ведь не оглох, – просипел другой. – Эй, дед, как фамилия? Тебя спрашивают!

– Давай лесничего подождём. Тот лично знает товарища Станкевича.

– Тот всех знает в лицо...

– А что делать станем? Давай в карты сыграем?

Булькающий был куда серьёзнее.

– Мы пока костерок разведём, заклёпки погреем.

От их неторопливого разговора повеяло чем-то зловещим и неотвратимым, даже глаза перестало резать, и сквозь щёлки пальцев пробился вполне терпимый свет.

Ещё ночью, будучи в руках похитителей, Патриарха озаряла мысль, что насилие это творится, как расплата за прошлое, но тогда подобное озарение почудилось вздором. Или, скорее, было затушёвано сиянием чувства исполненного долга, в котором он пребывал и физически ощущал, что бы с ним ни происходило. Это чувство будто навсегда и безвозвратно отрезало всё прошлое, и соединить его с настоящим было невозможно.

Как человек, переживший несколько режимов, взлётов и падений, с ними связанных, он понимал, что нынешнее патриаршество не бесконечно. Он чуял, как власть уже устаёт от перманентного пересмотра истории, уничтожения прошлых героев и возвеличивания новых, незаслуженно забытых, не признанных в своё время. Власти когда-то потребовалась доза свежей, горячей, бодрящей крови, влитой в её жилы. И вот переливание закончилось, подпитка состоялась, власть перестала нуждаться в донорстве, необходимом в период становления, утверждения, декларации намерений. Теперь подходит срок, когда прежние питающие своей кровью личности становятся лишними. Власти требуются другие доноры, с молодой, живительной кровью; власти всё время необходимо обновление, омоложение, дабы выглядеть привлекательной. Если вскормившие её старцы уходят в мир иной сами, то им и место на Новодевичьем, и воин-

ские почести, и слава на века. А если как он, ещё и не помышляющий о смерти? Напротив, заполучив вечный титул патриарха, продолжает давать советы, как строить новое общество, и при этом подписывает декларации и проекты законов, от которых власть уже коробит или вовсе тошнит? Даже стали поговаривать, мол, Патриарх нынче выглядит, как Григорий Распутин при дворе: если такая личность появилась в высших эшелонах власти, значит, той скоро конец. Мол, старец всюду суёт нос, да ещё тянет за собой въедливых и ненасытных чёрных вдов, вечно жаждущих крови власть имущих...

Правда, не вяжется тут символизм в организации похищения, как-то нелепо выглядит скрытое предупреждение, хотя, при всём том, иезуитский почерк узнаваем...

Так он думал, пока не очутился на обочине просёлка и пока не явились эти двое на скрипучей телеге. И опять пробило: мечь за прошлое! С какой бы стати его назвали не просто по фамилии, а с приложением слова «товарищ», от которого он напрочь отвык более полувека назад? А ещё более четверти века именовался не иначе, как гражданин?

Когда же нерасторопные балагуры сбросили с телеги какое-то железо и развели большой костёр прямо на дороге, Патриарх всё же приоткрыл глаза и сквозь расплывчатую слёзную пелену различил двух совершенно незнакомых, монашеского вида, мужиков: вроде, в серых подрясниках, и шапчонки на головах тряпичные. Один сиплый, пегобородый, с рыжиной, у второго чёрная бородаща, залысины проглядывают и кузнечный инструмент в руках.

– Дак чего? – спросил этот сиплый. – Заклёпки разогрели. Станем железа накладывать?

– Может, лесничего подождём? – пробулькал чёрный густым неторопким басом. – Вдруг не того привезли, как в прошлый раз...

– Всё одно, того, не того. Отсюда назад не отпускают. А велено всякого в железа.

Они подтащили цепи с прикованной чуркой, приготовили увесистую кувалду вместо наковальни и молоток. Патриарх взирал на всё это сквозь слёзы и чуял, как привычное желание противиться насилию исчезает вместе с глазной болью. И стремительно угасает яркий, режущий свет.

– Давай, товарищ, подставляй ноги сам, – посоветовал булькающий. – Противиться нам – себе дороже. В кандалы приказано обрядить.

И уже в который раз со времени похищения его осенила совершенно новая мысль: да это же всё придумано и воплощено конкурентом, соперником!

Врагов у Патриарха не было, но ревнитель и завистник всё-таки существовал, явный и в единственном лице – Московский Патриарх, честь и славу коего демонстративно стяжали, позволяя называть закоренелого безбожника духовным званием. А соперник и виду не показывал, при встречах они мирно и благодушно раскланивались, по установившейся традиции не подавая друг другу руки. Предводитель духовенства явно знал о прошлом светского Патриарха и должен был бы всячески его поддерживать и благодарить за борьбу с бесовщиной и еретиками. Всё-таки общее дело делали, хотя один бился с крестом в руках, другой, как воинствующий безбожник, но с одним и тем же врагом – сектантами. И Московский Патриарх до поры если и не ценил старания своего невольного соратника, то относился к ним терпимо, с пониманием. Однако в последнее время вдруг отшатнулся, перестал замечать, и близкие друзья, причастные к делам церкви, стали сообщать о ревностном или даже нетерпимом к нему отношении.

Власть наконец-то позволила духовному Патриарху низвергнуть светского соперника: сам бы никогда не решился на столь кардинальную расправу! Ходил, наверное, и шептал на ухо – Патриарх в государстве должен быть один...

Почти не прикрытое похищение, заготовленные оковы-железа, монастырские послушники – это всё изобретения из его арсенала. Чем старше и немощней становился Московский Патриарх, тем всё более тяготел к средневековым традициям, полагая, что таким образом можно вернуть былую крепость веры. Скорее всего, списанному со счетов светскому Патриарху уготовили участь тайного сидельца в юзилище какой-нибудь заштатной обители...

Осенённый своей догадкой, Патриарх воспрял: всё, что ни делается – к лучшему! Самое главное, долг всей жизни уже исполнен, наследство завещано, груз обязательств снят, и всё остальное не страшно.

Он протянул ноги волосатому мучителю, словно принимая брошенный вызов.

– Сделай милость, раб божий! Забей меня в кандалы!

– Забивают в колодки, – поправил его палач, – а железа налагают.

– Это тебе лучше знать!

Послушник недоверчиво глянул, но завернул штанины и пощупал щиколотки.

– А ноги у товарища-то совсем тоненькие! – изумился он. – И стопа сухая. Выскочит ведь.

– Надо было размер снять заранее, – съязвил Патриарх.

– Твой размер знаем, – серьёзно и как-то угрожающе пробулькал палач. – Должно, усох ты за эти годы. Пешим не ходил, панствовал... Чего делать-то станем, Михайло?

– Может, так везти, без железа? – предположил тот. – Если не по размеру?

– Велено заковать!

– Тогда думай сам! Ты мастер кузнечных дел.

– Что тут думать? – отозвался булькающий, верно, и в самом деле знакомый с кузнечным ремеслом. – Разогреем да сомнём поуже. По панским ножкам и будет.

Они и в самом деле сунули в огонь кольца кандалов, нагрели их и, удерживая клещами, придали овальную форму. Потом остудили в луже, примерили к щиколоткам, снять попробовали.

– Годится!

Чтоб сковать ноги, у них ушло минуты три: в отверстия оков вставляли разогретые малиновые заклёпки – по две на каждую ногу, легко плющили их и тут же поливали водой. И ещё спрашивали участливо:

– Не жжёт?

Ручные железа оказались впору, только вот дырок насверлили не того диаметра, пришлось слегка раскатывать заклёпки и забивать их как гвозди, зато уже намертво.

– Не жмут? – всё ещё ехидно интересовался сиплый. – Ты, если чего, так скажи, пока не забили. А то ведь тебе сидеть в этих железах придётся вечно.

«Красавец! – восхищённо подумал Патриарх о своём московском сопернике. – Либретто к опере писал сам! Чувствуется рука знатока...»

И попробовал железа на вес. Кандалы оказались прикованными к ножным, и всё вместе – к дубовой чурке с врезанными обручами, весом пуда в полтора. Послушники помогли её донести и погрузить в телегу.

– Поехали! Глядишь, и лесничего встретим.

Зная его близость к театральному и оперному искусству, особое влияние на их деятелей, а значит, и репертуары, соперник однажды посетовал, что на сценах Москвы никак не звучит тема подвига во имя веры. «Жизнь за царя» и Сусанин есть, где-то опера про лётчика Маресьева идёт, леди Макбет на всех подмостках. А, к примеру, о патриархе Никоне, окончившем земной путь в юзилице Ферапонтова монастыря, ни слова и ни звука. Ведь это не только духовный лидер своего времени, а ещё драматургически интереснейшая, трагическая личность! Посетовал будто бы так, между прочим, размышляя и не требуя ответа, однако же, обязался самолично помочь с подбором исторического материала и много чего рассказать о нравах и обычаях той эпохи.

Вспомнив этот случай, Патриарх окончательно уверился, кому обязан кандалами и своей новой ролью тайного затворника. И роль ему, безусловно, нравилась, открывала новые и совершенно неожиданные возможности: о похищении, точнее, исчезновении его уже известно чёрным вдовам и всем, кому надо. Сегодня рано утром Екатерина обнаружит его отсутствие в квартире – сначала по телефону, затем самолично, и уже к девяти будет у Генерального про-

курора. А к полудню Бабы Яги съедутся и поднимут штормовую волну, которая захлестнёт вялотекущую придворную жизнь. Пропал не бомж и даже не банкир или олигарх – светский Патриарх, известный деятель искусств и Президент Фонда защиты прав человека. Только бы у вдов хватило ума не привлекать могущественную Жабу! Нашли бы способ обойтись без её пробивной силы...

В узких и самых широких кругах одновременно, Жабой звали известную правозащитницу, предки которой выжили благодаря тому, что оказались дальними родичами Ленина, потом безбедно жили в период Советской власти. И сама Жаба в юности этим же козыряла, верховодя в комсомоле, говорят, красавица была писаная, все секретари засматривались. Они тогда были подругами с чёрной вдовой Еленой, работали в одном отделе ЦК ВЛКСМ. Однако строптивая родственница вождя или кому-то нужному не отдалась, или вовремя переориентировалась, но, возможно, в самом деле, заболела – история тёмная. В общем, очутилась в психушке, говорили, умышленно, чтобы переродиться в борца с системой и наследием своего родича. Говорят, перепрограммировали психику в психбольницах с помощью каких-то экспериментальных препаратов. Власть думала, прячет инакомыслящих в больницы и лечит их, а на самом деле оказалось – плодит!

Жаба и впрямь вышла другим человеком, полным антагонистом, ярим антисоветчиком и без каких-либо признаков женственности. Говорят, препарат был несовершенен, и красота шла в обмен на идейную убеждённость. Патриарх сторонился таких соратников и заклинал своих бабок Ёжек не привлекать её ни в каких случаях, ибо она одним только своим видом низводит до земноводности самые высокие, эфирные замыслы.

Конечно, если власть причастна, то ко всему этому готова, сделает вид, будто лихорадочно ведёт розыск, устанавливает виновных и громче всех кричит «держи вора!». Даже если везут в самый захудалый и неприметный монастырь, о нём уже к вечеру станет известно чёрным вдовам, и сюда хлынет поток сподвижников, друзей и прессы – такую дорогу набьют в глухомань! Процесс станет неуправляемым, как и всё стихийное в этой стране, где любая перелицованная истина становится культом. Жабу даже привлекать не нужно, сама выползет на экраны, ибо чует, где густо насекомых, комаров да мошек.

Разумеется, его найдут в цепях, и разразится неслыханный скандал...

И тут логично развивающаяся мысль словно на стену наткнулась. Нет, московский соперник не мог так просто подставиться, даже с согласия или подачи властей! Даже если она, власть, станет подталкивать его к такой грубоватой операции при клятвенной гарантии, что похищенного никогда не найдут. Мудрый, дипломатичный и не лишённый провидчества, Московский Патриарх верил только Богу и сразу бы узрел конечный замысел: таким образом избавиться от влияния обоих патриархов. Он всё просчитает, прежде чем заковывать соперника в кандалы, и при малейшем сомнении никогда не совершит махровой, пригодной разве что для оперного театра, средневековой глупости...

Впервые за всё время злоклучений вдруг пригасло искристое чувство исполненного долга, и у Патриарха засосало под ложечкой. Озаряющие сознание мысли закончились, и происходящим событиям не было вразумительных объяснений. Кроме единственного: во всём виновато наследство, которое он успел передать. А эти люди – опоздавшие, спохватились и теперь, судя по кандалам, пытаться станут не только голодом, холодом и жаждой, к которым он уже привык. И надо готовиться к самому худшему: физической боли, к психотропным препаратам, к гипнозу и прочей современной чертовщине.

Между тем скрипучая, древняя телега, запряжённая горячим, гнедым жеребцом, катила лесным виляющим просёлком как-то уж очень мягко, словно рессорная коляска. Совсем не трясло, не тархтело на колдобинах, только цепи на руках бархатно позванивали, и слышалось пение птиц в трепещущей листве.

В прошлом Патриарх был музыкантом, однако до сей поры в отвлечённом состоянии сознания начинал мыслить звуками и по ним выстраивать грядущий финал. Кажется, сейчас он испытывал бравурное состояние приподнятых чувств, и музыка окружающей природы вторила ему. Зрение окончательно привыкло к свету, хотя глаза ещё слезились, и изредка проносились радужные сполохи, но при этом Патриарх успевал всё замечать. В том числе и некоторые странные предметы у дороги – старые, обветшалые столбики с деревянными фонарями, сквозь мутные стёкла которых мерцали горящие свечи. Где-то он уже видел подобные маячки и при этом испытывал то же чувство недоумения, как сейчас: кто ходит и зажигает свечи вдоль всей дороги?..

На одном таком фонаре оказался дорожный указатель – полугнилая доска с надписью «Замараево». Название почудилось знакомым, впрочем, и сама полузаброшенная деревня на лесной поляне что-то напоминала, словно уже бывал здесь, но очень давно. По улицам паслись коровы и лошади, отчего гнедой в телеге приветливо заржал, сделал попытку свернуть с дороги и получил кнутом от сиплого.

– Прямо! Домой!

Через пару километров встретился ещё один застарелый, ржавый знак и теперь уж точно знакомый: надпись «Гречнево» была грубовато, мальчишеской рукой, исправлена на «Грешное». Именно так называлась тогда деревня в Костромской области, где ему в стычке с местными бандитствующими сектантами прострелили ногу! Старая рана тут же и отозвалась, заныло выше колена, там, где пуля выщипнула кость и откуда до сей поры время от времени, прорывая давно зажившую ткань, выходят мелкие, как песок, её осколки...

«Если следующая деревня Мухма, – загадал Патриарх, ощущая жар оков и потливость, – значит, костромские выползны...». Развивать эту мысль и вспоминать он сразу даже не решился. Выползнями называли членов секты, опознавательным знаком у которых была змеиная шкурка, зашитая в кожу и носимая на шее, как обережный знак, вместо креста. И это была единственно известная и зримая о них информация, всё остальное, как и чему они молятся, во что веруют, оставалось тайной либо приходило на уровне сплетен и баек. Пойманных с подобными амулетами допрашивали, пытали и, ничего не добившись, сажали на пять лет с последующей пожизненной ссылкой в Нарым. Конечно, если не доказывали, что арестованный принадлежит к секте выползней. Самих же сектантов под серьёзной охраной переправляли в Москву, где их дальнейший след терялся безвозвратно.

В окрестных деревнях змеиная шкурка стала проклятьем, от неё шарахались, если случайно находили в лесу, а иные мстительные хитрованы подбрасывали выползки своим врагам, а потом доносили. Скоро даже сплетен и бывальщин стало не услышать, люди боялись не то что вольно болтать о выползнях, даже вспоминать, думать о них опасались, особенно к ночи, мол, тут и явятся. Поэтому на расспросы отвечали, будто слухи о них – вымысел, и таких сектантов вовсе не существует...

Следующей деревни не оказалось, ибо послушники свернули с зарастающего просёлка на старую, едва приметную дорогу, почти затянутую мелким ельником, и горячий, срывающийся в галоп гнедой как-то сразу присмирел. Патриарха посадили спиной к ходу движения, поэтому он всё время смотрел назад, и тут стал замечать, что ни телега с виляющими колёсами, ни копыта лошади не оставляют следов. Мшистая земля, казалось, покрыта упругой, несминаемой гуттаперчей, в том числе, неестественно выглядели и мелкие ёлки, мгновенно встающие после того, как по ним проехали железными ободьями. И не было уже ни столбиков с фонарями, ни каких-то особых или знакомых примет: он ещё машинально пытался запомнить дорогу, хотя понимал ненужность и никчёмность своих потуг. Необъяснимость, по воле кого и в чьи руки он попал, вышибала непоколебимую уверенность в формуле, за которой он следовал всю жизнь: всё, что ни происходит, нужно перевоплощать во благо. Извлекать его даже из самой

лютой нужды, несправедливости и смертельной обиды. Единственное, из чего не получалось добывать благо – из собственных ошибок и заблуждений...

На этой дороге и явился лесничий, верно, поджидавший повозку за деревом. Внезапно запрыгнул на задок телеги, однако эффекта особого не произвёл, ибо оказался совершенно незнакомым, однако же, колоритным. Несмотря на лето, в овчинном полушубке нараспашку, топор за опояской, такой же волосатый, бородатый, да ещё и косоглазый – сразу не поймёшь, куда глядит. А возрастом лет сорок с небольшим.

– Здорово, дед! – признал и будто бы обрадовался. – Ишь ты, ничуть не изменился. А сколько лет прошло!.. Или тебя лучше звать товарищ Станкевич, как раньше?

– Мы шибко сомневались, – не оборачиваясь, отозвался сиплый, – того привезли, не того...

Не в пример послушникам, лесничий почему-то совсем не загорел на солнце, был какой-то бледный, белокожий и изрядно поеденный гнусом, которого, кажется, боялся панически. Он то и дело отмахивался от слепней, шлёпал комаров и постоянно чесал укушенные места. Сквозь прореху на его пропотевшей рубахе Патриарх заметил гайтан – кожаный шнурок на шее. Только вот что на нём подвешено, не рассмотреть...

– Взматерел, но фигура узнаваемая, – продолжал он, разглядывая Патриарха. – Даже седины немного, и все зубы целы! Где-то ещё отметина должна быть. На левой ноге, повыше колена...

– Точно, он ведь стреляный! – спохватился булькающий. – Мы и не догадались посмотреть...

– Да не гляди на меня так, не признаешь, – доверительно посоветовал лесничий, отбиваясь от насекомых. – Когда ты тут озоровал, меня и на свете не было.

Прореха на груди у него растянулась, и на гайтане оказался ключ – самый обыкновенный, от старого всячего замка. Косоглазость не мешала ему видеть всё, а возможно, гораздо больше – перехватил взгляд и усмехнулся:

– От лабаза ключ... Помнишь, амбары такие, на столбах? Ты ещё там мою бабку заживо спалил?.. Посидишь пока в лабазе.

– Это чтобы до суда дожил, – отозвался сиплый. – А то народ у нас лихой, никакого порядка не признаёт. Учинят самосуд...

– Бабку-то мою помнишь? Василисой звали, Анкудина Ворожея дочка?..

Орбиты его глаз наконец-то совпали, зеницы заняли одно положение, и от его прямого взора вновь потекли слёзы...

2

Первой его хватилась вдовствующая императрица Екатерина – так частенько называли помощницу Патриарха, вдову почившего несколько лет назад физика-ядерщика. Сам академик никаких прозвищ не имел, императором его не называли; он вообще был человеком очень скромным, даже застенчивым, как все гении. Однако жена его в пору моды на поиски высоко-родных корней заказала себе исследование родословной, и оказалось, что по линии матери она связана с французскими императорами, по линии отца – с испанскими королями. Всё это просочилось в прессу, и только бы гордиться прошлым, но красные и жёлтые газеты опубликовали другое древо, корни которого уходили в местечко Коши близ Львова. Мол, а все предки были очень хорошими портными, вроде даже кто-то придворными белошвейками, откуда и родилась версия о принадлежности к высокородным корням. Однако прозвище уже пристало намертво, да и видом Екатерина ему соответствовала. В юности она тоже начинала с портняжьего ремесла и освоила весьма хлебное дело – перелицовывать пальто. Сукно обычно было двухсторонним: поносил на одной, затаскал, затёр, но распорол швы, перевернул наизнанку и опять как с игло-лочки. Если же новое купить не на что, то можно повторить процесс, поскольку ставшее изначальным сукно тем временем отдыхало, само приводилось в порядок и опять выглядело прилично.

Выйдя замуж за учёного из секретной лаборатории, она оставила своё занятие, но, когда он оказался не у дел, да ещё в ссылке за вольнодумство, снова стала брать заказы. И это далеко не императорское занятие помогло не то что выжить, а утвердиться в новой ипостаси. Принцип перелицовывания одежды годился на все случаи жизни, преобразовать таким образом можно было что угодно, от нового состояния жилья, достигаемого перестановкой мебели, до переустройства политической системы в государстве.

Потом скоропостижно скончался муж, и к негласному светскому прозвищу добавилось слово «вдовствующая».

С давних, ещё ссыльных пор она завела змейскую привычку будить Патриарха рано утром, чтоб закрыл за ней дверь. Сама вставала чуть свет – ходила на рынок за тёплым, парным молоком к завтраку своего мужа-академика, которому требовалось биологическое тепло животного. Станкевич тогда жил у них на правах квартиранта и позволял помыкать собой, как ей, Екатерине, вздумается. И ещё тогда он тихо невзлюбил будущую чёрную вдову, но терпел, добывая из этого благо: его существование в доме физика обеспечивало не только близкую дружбу с ним, но видимую безопасность и даже неприкосновенность. Надзирательные органы неожиданно благодушно позволили ссыльному Станкевичу жить у таких же ссыльнопоселенцев, дабы легче было отслеживать сразу всех. Они прекрасно знали о неусыпном наблюдении и прослушке, соблюдали жёсткие правила конспирации, иногда допуская умышленные утечки, дабы запустить дезинформацию. Мастером в этом деле считалась жена здравствующего академика; сам он, как и все учёные, был немного не от мира сего, забывчив и по быту рассеян, да и напуган ссылкой, внезапным поворотом судьбы, лишением всех наград, званий, и всё ещё не мог отойти от стресса. Жизнь в их доме, вольные разговоры, обсуждения политических вопросов и встречи проводились исключительно под её покровительством и руководством.

Ссылка и давление надзирательных органов давно закончились, академик не излечился биологическим теплом и умер, но привычки у чёрной вдовы сохранились прежние: каждый день в половине шестого она звонила Патриарху. Только теперь обращалась уже не как с бесправным, пригретым квартирантом, а как с хозяином, авторитарным шефом – желала доброго утра и напоминала о планах на день. И при этом умоляла, чтоб ни в коем случае не отключал телефон, ссылаясь на безопасность существования при любом, даже самом благоприятном, режиме.

Она и позвонила в половине шестого, а в половине седьмого уже открывала своим ключом дверь его квартиры в элитном доме, причём, в присутствии охраны подъезда, начальника милиции и вице-преьера, живущего этой же площадке.

Вторая чёрная вдова, Елена, носила «домашнее», сказочное прозвище Прекрасная и была ровесницей Патриарху. Однако вдовой на самом деле не являлась, поскольку никогда не выходила замуж, мужа не хоронила, и прозывалась так за компанию с первой. Впрочем, о её жизни было известно всё и ничего; знали, что ещё при Сталинском режиме она отбывала срок за хулиганство на Красной площади – разделась догола в праздник 8 марта, будто в знак протеста против ущемления женского достоинства в СССР. По крайней мере, так заявляла советская пропаганда, что было на самом деле, знал только адвокат Генрих. Выйдя на волю, Елена Прекрасная стала бороться со сталинизмом и считалась самым старым, заслуженным и опытным борцом с вождём народов. Потом несколько лет содержалась в психиатричке, откуда вышла по ходатайству врачей-психиатров, организованному ссыльным академиком и тогда ещё неизвестным адвокатом Генрихом. Вышла и стала ведущим специалистом в области борьбы с узурпаторами власти. Последние пару лет она пыталась учредить соответствующую государственную награду, высшая степень которой была бы равнозначной Ордено Мужества.

Несмотря на возраст, Елена выглядела моложе, отличалась бойкостью, старым ещё, комсомольским задором, хотя страдала бессонницей, однако на квартиру к шефу приехала с небольшим опозданием. Зато уже с информацией, совершенно для всех неожиданной: вчера около полуночи ей позвонил невесть откуда взявшийся внук Патриарха, некий Левченко, и попросил помощи – отыскать деда. Мол, в Москве он проездом, встретиться хотели по важным делам, но по телефонам дед не отвечает. И будто ещё раньше предупредил, дескать, в таком случае обращайся к помощницам, они всегда знают, где он, и свяжут.

– Примерно этого я и ждала, – в ответ на сообщение Елены сказала вдовствующая императрица.

– Что ты ждала? Внука? – попыталась уточнить та, но Екатерина ушла от темы: в первые часы после столь значимого происшествия у них всё было рваное, в том числе мысли, чувства и разговоры.

Обе чёрные вдовы знали о Патриархе почти всё, но про внука слышали впервые. Елена Прекрасная самозванцу не поверила, заподозрила подвох и стала наводить справки, кто такой и кем доводится Станкевичу. Ей бы сразу позвонить старцу, и пропажа обнаружилась бы ещё ночью, но, невзирая на свои убеждения и ненависть к мужчинам, она очень трепетно относилась к Патриарху и беспокоить в поздний час не посмела. Отложила звонок на утро, а сама тем часом привлекла друзей с Лубянки и устроила срочную и глубокую проверку внука. Личность Левченко установили, есть такой человек, уроженец Ярославской области, но живёт в Гомеле, гражданин Белоруссии, и родственных отношений со Станкевичем не имеет, ни по линии отца, ни по линии матери. Друзья с Лубянки вздумали познакомиться с ним воочию, чёрная вдова назначила встречу на сегодняшнее утро, рядом со своим домом на Гоголевском, однако самозванец не явился и на звонки больше не отвечал. Засада до сих пор остаётся на бульваре, возле памятника Гоголю, но уже понятно – внук не придёт.

По пути в прокуратуру Елена Прекрасная вернулась к неоконченному разговору.

– Так что ты ждала? – спросила она с чисто женским любопытством. – Что-то уже слышала о внуке?

– О внуке не слышала, – призналась Екатерина. – Но в последнее время заставляла Патриарха сияющим.

– То есть, как сияющим? Он даже улыбаться не умеет.

– Это в нашем присутствии не умеет. А когдаходишь без стука, у него рот до ушей.

Елену покоробили вульгарные слова соратницы, однако надо было знать вдовствующую императрицу: в порыве страсти она могла перейти и на жаргон.

– Я никогда не входила к нему без стука...

Екатерина её не слушала, погрузившись в воспоминания.

– А дней десять назад он случайно проговорил странную фразу: «Теперь я живу с чувством исполненного долга». Какой долг он мог исполнить? И чтобы мы не знали? Перед кем?

– У меня мороз по коже, – Елена съёжилась. – Мистика... Ты не знаешь, кто такой Переплётчик?

– Переплётчик? Это что, фамилия или профессия?

– Больше похоже на прозвище... Никогда про него не слышала?

– От Патриарха не слышала, – призналась Екатерина. – А ты?

– И ещё скажи, а у него есть брат? Или был?

– Он единственный ребёнок в семье, – твёрдо заявила вдовствующая. – Я биографию знаю... Ну, говори, говори!

Елена Прекрасная заговорила виновато.

– Однажды я подслушала разговор Патриарха. Случайно!..

– Продолжай! С кем?

– С самим собой... Нет, не хочу ничего сказать о его здоровье! Может, это были мысли вслух... Или он медитировал...

– Он никогда не медитировал!

– В общем, вёл диалог с неким Переплётчиком, – сдавленно сообщила Елена. – И называл его братом.

Екатерине хотелось услышать суть.

– О чём говорили? Конкретно?

– О какой-то посуде... Я не совсем поняла. Патриарх спрашивал, почему брат не сказал ему о чаше.

– Ну, у него есть неоконченная симфония! – вспомнила вдовствующая императрица. – Называется «Звон храмовых чаш». Слышала? В его исполнении?

– Это я слышала. Только речь шла не о музыке. Патриарх вроде бы предъявлял претензии. Почему он ничего не знает о некой чаше. За которой придут.

– Кто придёт?

– Не знаю.

Екатерину осенило.

– Слушай!.. А что если он дописал симфонию? Тайно от нас? И потому ходил сияющий? Хотел сделать сюрприз!

– Я об этом не подумала, – призналась Елена, стряхивая озноб. – И верно, Патриарх музыкант по природе. А у них бывают... разговоры с самим собой.

В десятом часу обе вдовы были в кабинете Генерального прокурора, который уже знал об исчезновении светского Патриарха и принимал экстренные меры к установлению всех обстоятельств, взяв дело под личный контроль. Он и продемонстрировал помощницам небольшой видеоролик охранной системы, где отчётливо видно, как Станкевич сам, добровольно, садится в машину, судя по номерам, принадлежащую Комиссии по помилованиям. Обстоятельства проверили: автомобиль из гаража ночью не выезжал, у водителя алиби, здесь всё чисто. Злоумышленники отлично знали, с кем имеют дело, чётко спланировали похищение и оставили два ложных следа: второй, считала прокуратура, внезапно объявившийся и исчезнувший внук.

Бабки Ёжки вышли от Генерального в необычном для них, глубоком шоке, поскольку обе были уверены, что похищение организовал и провёл именно самозванный внук! Но законники его явно покрывают, списывая на ложный след, а это может означать единственное: инициатор преступления – власть. А кто с ней сейчас может схватиться на равных, так это один адвокат Генрих. Таково было мнение Елены Прекрасной, которая порывалась немедленно звонить ему и привлекать к раскрытию преступления.

Вдовствующая императрица интуитивно опасалась Генриха, зная его неумолимую, танковую силу напора, неуёмную страсть всё грести под себя и одновременно болезненную склонность к мистификациям. Он мог выполнить любую задачу, достать кого угодно даже с того света, например, вынуждая прокуратуру делать эксгумацию трупов и доказывая убийство или, напротив, естественную смерть – в зависимости от того, кто и сколько заплатит. Однако при этом был известен в кругах благотворителей, кому-то помогал бескорыстно, с кого-то драл три шкуры, по слухам, состоял в некоей ложе, к масонству отношения не имеющей, дружил с эзотериками и оккультистами. В нём совершенно невероятным образом сочетались два крайних направления – мистиков и оптимистов. Его невозможно было нанять, как адвоката, никому и никогда; кого следует защищать, он выбирал сам, неизвестно какими целями руководствуясь. Случалось, брал самые бесперспективные дела и каким-то чудесным образом выигрывал жёсткие сражения со стороны обвинения.

Обе чёрные вдовы исконно женским чутьём чувствовали стремительное приближение конца их времени. Нет, сам Патриарх ещё много значил и мог, но, чтобы его свергнуть, уже давно подтачивали опоры, давили его верных помощниц, не выпуская уже в прямой эфир. И напротив, часто выставляли бывшую попутчицу по прозвищу Жаба, которая упрямо норовила быть причастной к команде, везде об этом заявляла и тянула одеяло на себя. Власть стремилась выйти на знак равенства – между величиной светского Патриарха и эту полублаженной внучатой племянницей Ильича, откровенно презираемой народом. И делала это как всегда аляповато, неосмотрительно, без намёка на убедительное изящество. Патриарху докладывали об этом не раз, но тот проявлял степенство и благородство, считая, что всё неестественное отомрёт по законам природы, эволюционным путём. А Жаба просто несчастная женщина.

И дождался...

В двенадцатом часу чёрные вдовы собрали первую пресс-конференцию у себя в офисе, однако журналистские заявки сыпались лавиной, а к обеду проснулись иностранные представители СМИ. Громких, обвиняющих власть, заявлений пока не делали, обсуждали между собой, ибо сами ещё не вышли из шокового состояния и не осознали, что на самом деле произошло. Елена Прекрасная была убеждена: случилось событие знаковое, поворотное, историческое, и страна притихла в ожидании, что же будет?

– Знаешь, у меня такое же чувство, как в день смерти Сталина, – призналась она. – Народ замер, не стало личности, которая олицетворяла власть.

– Ну, ты скажешь! – стряхнув с себя её навязчивый испуг, отозвалась Екатерина. – Нашла, с чем сравнивать!

– Наступает новая эпоха, я это чувствую!

– И перестань хоронить Патриарха! Он нас переживёт.

– Почему молчит страна?

– Она всегда молчит, эта страна! – начинала злиться и негодовать вдовствующая императрица, чувствуя прилив женского, старушечьего бессилия и противясь ему. – Мы не должны молчать!

– Как-то странно ведут себя журналисты...

На Екатерину напала грубая, надменная язвительность – первая защитная реакция.

– Они всегда ведут себя странно, когда палёным пахнет. Они боятся, рот им заткнут! У нас пресса свободная, когда надо кого-нибудь прессовать с позволения власти.

Как и следовало ожидать, прокуратура в течение дня аккуратно отмахивалась от назойливых чёрных вдов, умоляла не вмешиваться в подробности дела и не комментировать события хотя бы одни сутки. Всё, что вдовы сумели придумать – это организовать пикет из своих сторонников возле Генеральной, куда в обед собралось человек двести с наскоро написанными плакатами и воззваниями. А ещё заехать к знакомому экстрасенсу, которая более напоминала тучную, располневшую ведьму, но киношную, обвешанную амулетами, украшениями и с тяжё-

лым из-за обилия чёрной краски взглядом. Она мельком глянула на снимок Патриарха и сразу прихлопнула ладонью.

– Он мёртв! Его нет среди живых на нашем свете.

– Его что, убили?!

– Задушили женским чулком.

– Зачем?! Почему? За что?!

– Это пока не известно, – ведьма наложила на фото тяжёлую каменную плиту. – Пусть проявится. Завтра скажу.

Однако на втором собрании журналистов вдохновлённую вдовствующую императрицу внезапно прорвало, и она выдала то, о чём пока что говорили между собой, в кулуарах. Екатерина открытым текстом заявила, что власть причастна к исчезновению светского Патриарха. Сказано это было со старушечьим надрывом и не совсем здоровым видом отчаявшегося пожилого и митингующего на площади пенсионера. Главный козырь был выброшен почти впустую: не здесь, не сейчас и не так должны были прозвучать роковые слова! Благодаря покойному мужу-физику, её личный авторитет ещё сохранялся, имя было на слуху, однако даже оголтелые журналисты заметно оторопели и примолкли. По крайней мере, в вечерних новостях этого не показали, зато выпустили Жабу, которая почти дословно повторила слова вдовы, присвоила их, и, тем самым, как бы размыла актуальность и серьёзность заявления. Ведущий подтвердил это, мягко и сострадательно сославшись на женскую эмоциональность близких друзей пропавшего старца. А на самом деле прозвучало, мол, не обращайтесь внимания, граждане телезрители, это бабская истерика, отчаяние озабоченных и скорбящих.

Первый день без Патриарха получился, как первый блин, и этот ком, словно застряв в каждом горле, не позволил никому сказать что-либо стоящее и вразумительное. Правда, Екатерине позвонил адвокат Генрих, сообщил, что отслеживает ситуацию и в определённый момент может подключиться к процессу. Это значило, что он держит руку на пульсе, дело это ему интересно, и он непременно захочет поучаствовать, независимо от желания помощниц Патриарха. И неизвестно, из каких соображений, меркантильных, благотворительных, мистических либо каких-то иных, поэтому надо было успеть сделать всё самим и не допускать стороннего вмешательства.

Однако вечер принёс новость потрясающую, и опять через Елену Прекрасную – вновь объявился внук! Позвонил и виновато сообщил, что забыл дома зарядное устройство, а батарея села, автоматы же в Москве попросту не работают. И он, шокированный известием об исчезновении деда, целый день метался по городу, пытаясь встретиться с помощницами, однако его никуда не пускали, тем паче, к чёрным вдовам, милиция и охрана нервные, а возле прокуратуры вообще чуть не поколотили древками плакатов, приняв за провокатора.

На сей раз вдовы не стали обращаться даже к надёжным друзьям с Лубянки, уже окончательно убедившись, что власть сливает Патриарха. Они договорились с самозванцем о нелегальной встрече в уединённом месте Кусковского парка, где мастер конспирации Екатерина проводила самые ответственные переговоры. В парк поехали из разных районов города на тщательно подобранных частных извозчиках. После заявления вдовствующей императрицы они не поссорились, когда-то ещё давно договорившись принимать друг друга такими, какие есть, уважать сиюминутные порывы, которые, возможно, несут проявление истинных чувств и мыслей.

Самозванец оказался не таким растерянным простаком, как почудилось в телефонном разговоре. Он смотрел телевизор, чёрных вдов знал в лицо, и прежде чем подойти, сделал несколько кругов, отслеживая, нет ли наблюдения. Однако опытным глазом вдовствующей императрицы был вычислен, и когда подошёл, внука успели рассмотреть и оценить. На вид ему было немного за сорок, не мачо, но с модной недельной небритостью, породистый, благородный профиль, цепкий, сильный взгляд, спортивная фигура и одет соответственно. При

этом обе чёрные вдовы, прошедшие скрытое оперативное наблюдение, лагеря, психушки и ссылки, одинаково отметили два главных качества: самозванец не походил на опера, но зато в его облике и стати было так много от Патриарха! Если вспомнить старые фото – почти одно и то же лицо, особенно сверкающие эмалью, совершенно белые, безукоризненные зубы и открытая улыбка, которую видела и помнила Екатерина.

И этот вывод их сильно обескуражил, поколебал уверенность. Когда Левченко подсел на скамеечку с вежливым «здравствуйте», вдовы не успели собраться с мыслями и чувствами.

– Дед ожидал подобных событий, – сразу же заявил он. – В нашу последнюю встречу высказывал опасения относительно своего будущего. Поэтому заметно спешил...

– Послушайте, любезнейший, – наконец-то совладала с собой вдовствующая Екатерина. – Откуда вы вообще взялись? У Станислава Юзефовича никогда не было семьи!

– Официально – да, – мгновенно согласился Левченко. – Для меня родство с Патриархом стало открытием.

– Кто же ваша бабушка? – язвительно вцепилась та.

Самозванец услышал всё – недоверчивый тон, холодность и неприятие, но виду не подал.

– Я сам узнал о ней совсем недавно, от деда, – не сразу признался он. – Считалось, что бабушка погибла в войну. Так говорили родители. Будто её угнали в Германию. А дед тем временем партизанил в белорусских лесах...

– Станислав Юзефович никогда не партизанил!

– Да, он сказал. Дед во время войны сидел в Гулаге. Играл на виолончели, в лагерном оркестре. У них был прославленный на весь Гулаг квартет «Мосты». Этот лагерь строил мосты. Точнее, один его отряд. Он назывался «Московский». Там сидели одни инженеры-строители мостов...

Чёрные вдовы переглянулись, но более ничем не выдали своего удивления. Такие шепетильные подробности лагерной жизни, как игра в квартете, были известны лишь самым близким друзьям. Для всех остальных Патриарх забивал со льда деревянные сваи и наводил мосты, за что ещё тогда получил прозвище Понтифик. Так что было отчего переглядываться. Мало того, Екатерина попыталась и это скрыть, излишне резко и как-то по-змеиному прошипев:

– Вы не ответили, кто ваша бабушка.

Левченко печально улыбнулся, но глаза оставались пронзительными и напряжёнными, как у самого Патриарха.

– Моя бабушка была колдунья. Точнее, даже ведьма. Не такая, как сейчас – настоящая...

А так больше ничем не примечательная сельская девушка.

Даже Елена Прекрасная тут не сдержалась от язвительности.

– В белорусских лесах? В Полесье? А звали её не Олеся?

– Нет, не в белорусских, – серьёзно поправил он, – в костромских. Я там никогда не был, только собирался съездить...

– Хорошо, – перебила Екатерина. – Ведьма так ведьма... А когда Станислав Юзефович вас нашёл?

Самозванец позагнул пальцы, считая что-то, и сказал точно:

– Пять с половиной месяцев назад. В марте. Но не дед нашёл – я сам разыскал деда.

– Каким образом?

– Не поверите – случайно! – искренне признался он. – Однажды на вахте ко мне подошёл незнакомец. И сказал, чей я внук. У нас на вахте люди часто меняются... Деда как раз по телевизору показывали. В общем, я не поверил, но спросил у матери. Она всю жизнь молчала, а тут рассказала. И назвала имя бабушки – Василиса Ворожея.

– Почему мы об этом ничего не знаем? – выдала себя Елена Прекрасная и по-старушечьи прихлопнула рот дрябленькой, но девичьей ладонью.

– Это мне неизвестно, – у него на всё был простенький ответ, как забытое зарядное устройство.

– Зато нам известно всё, чем занимался Патриарх! – отчеканила вдовствующая императрица. – Он посвящал нас во все свои дела без исключения. В том числе и личного характера. И мы ничего не слышали ни о вас, ни о вашей бабушке-ведьме.

Левченко пожал плечами, однако сказал убеждённо:

– У каждого человека есть сокровенные тайны. Которыми он делится в последний час. Или уносит с собой в могилу. Дед не исключение. А у него есть что скрывать и таить...

– Если он стал искать кровных родственников, – решила поправиться Елена, – значит, он знал о вашем существовании?

– Он не искал! Это я его нашёл!

– Хорошо, пусть так. Но знал, что есть внук?

– Не знал, но догадывался, – как по писаному выдал самозванец. – И не обо мне конкретно, а о своём ребёнке. Сыне или дочери. Он не знал даже, кого родила моя бабушка.

– Кого?!

– Мою маму.

Чёрные вдовы пережили сотни допросов, поэтому допрашивать умели профессионально, зная, что напор – половина успеха.

– Она жива?

– К сожалению, нет... Умерла в прошлом году. Чуть не дожила, чтоб встретиться с отцом. Но очень хотела и передала мне наказ – найти деда.

– Передала? Почему передала?

– Я не присутствовал, когда умирала, – вздохнул Левченко. – Был далеко, в командировке. На похороны опоздал...

– Зачем он вас искал?

– Да он не искал!

– Ему было неинтересно, есть ли у него дети?

– Этого я не знаю. Думаю, всякому пожилому и одинокому человеку хочется узнать, есть ли у него наследники. Имею в виду нормальных людей.

– Как вы встретились?

– Приехал в Москву, – признался самозванец, – нашёл ваш офис. Подождал деда и объявился. Я же его по телевизору видел...

– Как отнёсся к этому Станислав Юзефович?

– Обрадовался! Есть на свете корешок. Остаётся...

– Он что, собирался умирать?

Самозванец опять пожал плечами.

– Вроде бы нет. Даже напротив, сказал, теперь буду жить ещё, долго. С чувством исполненного долга.

– Так и сказал?! – хором выкрикнули вдовы.

– Так... А что особенного? Старик встретил родного внука, исполнил долг...

– Когда так сказал? – вдовствующая императрица не давала опомниться. – Про чувство исполненного долга?

– В мае...

– Вы говорили – в марте!

– В марте я деда нашёл. А о жизни говорил в мае, когда мы встречались. – Левченко вдруг поник и отёр небритость ладонями. – Только у меня чувство... Нет, ощущение. Что-то случилось такое... И дед погиб.

– С какой стати?!.. – подпрыгнула Елена Прекрасная и настороженно осела, вспомнив заявление экстрасенса.

– Он же внук ведьмы, – ехидно заметила Екатерина и потеряла сдержанность, как на пресс-конференции. – Или профессиональный жулик. Станислав Юзефович вам поверил на слово? Что именно вы – внук? Похожих внешне людей сколько угодно!

– Не поверил, – признался тот. – И заставил сдать анализы на ДНК. Вместе сдавали...

Чёрные вдовы теперь дёрнулись обе, однако лишь слегка вытянули фигуры.

– И что?!..

Левченко молча извлёк из кармана куртки бумагу и отдал вдовам. Но сказал о каких-то своих догадках:

– Я так и знал!.. Теперь начнётся! Эх, дед, дед...

В заключении значилось, что ДНК перечисленных выше и сдавших анализы граждан, совпадают на 99,8 процентов, и это говорит об их прямом кровном родстве.

– И где такие бумажки пишут? – не сдалась Екатерина. – В какой канцелярии? Администрация президента? Лубянка? Или в какой-нибудь сверхсекретной?

– Там стоит штамп, – невозмутимо пояснил внук. – Какая-то закрытая клиника, с улицы не пускают. Дед отвёл, другим не доверял...

Очков они не носили, но тут обе выхватили их из сумочек и тщательно изучили бланк, штамп и печать.

– Всё равно весьма подозрительно... – начала было фразу Екатерина и осеклась.

– У деда где-то дома должна быть точно такая же бумага, – пояснил Левченко. – Он так радовался... И просил прощения.

– Прощения? За что?

– Что заставил проверять ДНК...

– А смысл? – подхватила Елена Прекрасная. – В чём смысл? Зачем? Цель? Наследство?

– Наследство, – признался внук. – Точнее, и наследство тоже.

– Квартира? Он отписал вам квартиру?

Левченко тоскливо посмотрел в обе стороны аллеи.

– Не знаю, не читал завещания... Да теперь это и не важно.

– Что, есть завещание? – уцепилась Екатерина. – Станислав Юзефович написал завещание?!

– Разумеется, написал. Исполнил долг, передал наследство...

– Ложь! Я видела сегодня обоих его адвокатов и нотариуса. Никаких завещаний он не оставлял!

Внук опять порылся в карманах, достал несколько визитных карточек, выбрал одну и подал вдовам.

– Вот у этого адвоката хранится. В запечатанном пакете.

Они изучили визитку молниеносно.

– Но это чужой адвокат! Совершенно неизвестный!

– Я не знаю, ещё не был у него, – помялся Левченко. – Носился по городу, искал вас... Забыть зарядное устройство!..

– Так он отписал квартиру?

– О квартире речи не было, – похоже, въедливость вдов начала раздражать внука. – Дед же не собирался умирать, переезжать куда-то... Он хотел жить. С чувством исполненного долга. Сказал, начнётся новый этап вольной жизни. Наследство его тяготило, опасался, попадёт не в те руки...

– А что же он завещал? – изумилась Елена Прекрасная. – У него кроме квартиры ничего нет! Единственное его приобретение после эмиграции. Всё, что заработал книгами в Соединённых Штатах. Другой собственности нет! Так что можно завещать, если завещать нечего?

– Ну, откуда мне знать? – уже возмутился внук и упёрся во вдов взором гневного колдуна. – Я и видел деда два раза! Вот приехал в третий... Какие-то ценности, что ли. Вроде, художественные. Я не разбираюсь...

– Где у Патриарха художественные ценности? – кого-то спросила Екатерина. – В квартире голые стены! Разве что мебель, да и то... Уж не клад ли он закопал?!

И засмеялась над собственной злой шуткой.

Левченко отвернулся.

– Он говорил, наследство в каком-то банке, вроде, зарубежном. Я плохо слушал... Не каждый же день деды объявляются! Да ещё такие... Может, в Штатах заработал, скопил и оставил? Помню только условие: на эти деньги построить мост. Так что мне придётся уволиться с работы и строить мост.

Чёрные вдовы опять недоумённо переглянулись.

– Мост?!.. Какой мост?

– Вроде бы каменный, через реку. Я и запомнил-то, потому что условие не обычное...

– Через какую реку? – грубовато произнесла Екатерина. – Вы что несёте?

– Думаю, через Волгу. У нас через Волгу мостов маловато. Дед не сказал, через какую, я потом уточню... Уточнить хотел. Как вы считаете, его поэтому похитили? Кто-то ещё узнал про завещание? Адвокаты – продажные люди...

– Сами подумайте! – возмутилась вдовствующая императрица. – Ну, разве можно на книгах заработать? Чтобы на мост хватило? Ещё и каменный! Даже в Штатах?!.. Все деньги ушли на покупку квартиры. Ему государство выделяло бесплатно, в дар – отверг. Чтoб быть независимым.

– Тогда я не знаю природу ценностей, – подытожил внук. – Вскроем завещание – узнаем...

– Когда вы собираетесь это сделать?

– Хотел сегодня, – как-то вяло отозвался внук, при этом зорко озираясь, – но уже не успеваю... Завтра с утра теперь.

– Мне здесь не нравится. – Екатерина что-то почуяла и встала. – Вон там коляска другая, а мамаша та же... Расходимся!

– И мне здесь не нравится, – поддержал её Левченко. – Чую чьи-то взоры, глаза... За нами следят?

– Не исключено. Расходимся!

– А что с внуком? – спохватилась Елена Прекрасная. – Вы где остановились?

– В аэропорту, – признался тот. – Я же проездом...

– Поселитесь в квартире Елены, – заявила вдовствующая императрица. – Самое безопасное место. У неё совершенно чистая квартира, там можно вести любые разговоры и решать самые секретные задачи. Елена, вы не против, если у вас поживёт мужчина?

– Я не против, – покорно согласилась та. – Правда, у меня в доме мужчины не приживаются...

Екатерина и слушать её не хотела, додавливая самозванца.

– Надеюсь, вы же не уедете, пока ситуация не прояснится? С вашим дедом?

– Я уже понял, – обречённо произнёс Левченко. – Дед разрушил все планы... Как объяснюсь с начальством? Работаю на газодобыче полуострова Ямал. Завтра моя вахта начинается... А мне ещё заявление писать на увольнение. Теперь уж точно придётся строить мосты.

– Утрясём, – пообещала Елена Прекрасная, тоже рассеяно озираясь. – Человек способен построить мост через Волгу, а заботится о какой-то вахте... Дурдом!

– Лирика потом, – оборвала её мастер по камуфляжу, натягивая рыжеватый парик. – Уходим по одному. Вы, наследный принц, идёте за мной, держите в пределах видимости.

Такси остановлю я, доставят по адресу на Гоголевский бульвар. И пожалуйста, из квартиры без ведома хозяйки ни шагу!..

Таким образом они миновали значительную часть парка, и уже на выходе к улице Михайлова новообретённый внук Патриарха внезапно исчез из поля зрения. Потом его спина дважды мелькнула меж деревьев и пропала в зелени парка. Обе чёрные вдовы заметили это одновременно, ибо не теряли видимой связи с ним, поэтому тотчас вернулись к месту, где он мелькал в последний раз, но кроме мамаш с колясками, сосущих пиво и смолящих сигареты, никого более не обнаружили...

3

Взрослым он никогда не плакал, излив все слёзы и выметав из кадыкастой гортани подлые, скверные для парня рыдания ещё в юности, когда лишился родителей и остался, по сути, на попечении двоюродной тётки. Польский Белосток был под немцами, однако их семья не ощущала тогда ни голода, ни холода, ни прочих военных невзгод, поскольку отец владел складскими помещениями на железнодорожной станции, несколькими мясными лавками по городу и ещё помогал родственникам, поселив в своём доме эту самую Гутю, девицу на выданье. Он сам играл на духовых инструментах в любительском оркестре, мечтал вырастить из сына музыканта, поэтому Станиславу, а заодно и юной воспитаннице наняли учителя музыки, краснолицего и веснушчатого студента консерватории Вацлава. Три раза в неделю он приходил к ним в дом и занимался с каждым отдельно по два часа, причём с Гутей только на скрипке, а со Станиславом ещё на альте и виолончели, ибо заметил его особую одарённость.

– Такое ощущение, будто вы сами – смычок! – восхищённо говорил он. – Вы извлекаете из себя божественное звучание!

Война учёбе не помешала, тем более, у отца немцы сначала забрали склады под свои нужды, а потом назначили его управляющим и платили хорошее жалование. А вот учитель музыки страдал, лицо у него выцветло, побледнело, нос от этого словно вырос вдвое, и яркие веснушки стёрлись. Втайне от родителей они с тёткой подкармливали Вацлава, давали с собой съестное и копили для него деньги. К тому же, делать это было не трудно: отец с матерью целыми днями пропадали в пакгаузах, а продуктов было достаточно, особенно немецкого шпика, консервов и муки. Студент быстро ожил, руки перестали дрожать, когда подстраивал инструменты или канифолит смычки, и даже нос стал поменьше.

Обычно Вацлав давал задание Станиславу и сам уходил наверх, к тётке, которой никак не давалась даже простенькая скрипичная музыка, потому как учитель не мог поставить ей руку. Гутя родилась в деревне, закончила всего лишь сельскую школу для бедных, однако говорили, что она очень красивая, и её ждёт удачное замужество и хорошее будущее в Белостоке. Станислав присматривался к своей тётушке, но никакой особой красоты не замечал – чопорная, горделивая и совсем неулыбчивая девица.

Обычно из её комнаты на уроках музыки доносилась невразумительная какофония звуков, перемежаемая бубнящим голосом учителя, который потом исполнял небольшие пьески, заставляя повторить. И ещё горестные вздохи и стоны разочарования бедного и упорного студента. Ей следовало бы прекратить занятия, но отец настаивал, да и сама Августа страстно мечтала научиться играть в надежде, что её выдадут замуж в богатую, образованную семью. Поэтому учитель терпеливо возился с ней часами и, даже будучи бледным, возвращался от неё красным, вспотевшим, но зато улыбался, когда слушал Станислава, и говорил:

– Вы будете ещё великим музыкантом! Запомните только одно: великое достигается великими поступками.

Это льстило, вселяло уверенность. Учитель потом смеялся и по секрету сообщал:

– А вашей милой тётушке я до сих пор не могу поставить руку. Ей самое место в мясной лавке.

Беда на их семью обрушилась внезапно.

Сначала её узрел один только Станислав, причём сквозь щёлку приоткрытой двери. Тётка стояла, почему-то согнувшись, с распущенными волосами, скрипкой в руках и при этом была совершенно голой! Но водила смычком по струнам, стонала и улыбалась. И Вацлав тоже был голым! Он возвышался сзади, держал её за талию и как-то торопливо, коротко дёргался, зажимившись, словно слушал чарующую музыку.

Станислав в первый миг даже не понял, что происходит, и чуть не вошёл в комнату, однако неестественность их поз потрясла и оцепенила одновременно. В тринадцать лет он уже знал, что бывает между мужчинами и женщинами, но никак не мог предположить этого между чопорной, строгой на всяческие вольности тётей Августой и веснушчатым, полуголодным учителем. И когда он догадался, что происходит, испытал жгучее, навязчивое любопытство, отчего замер под дверью с открытым ртом и вмиг пересохшим горлом, поскольку представил себя на месте учителя.

Он не помнил, сколько так стоял, взирая на зрелище постыдное и будоражащее, погружаясь то в жар, то в холод. Тут он впервые и рассмотрел, что Гутя и в самом деле красивая и невероятно желанная! Так и хочется потрогать руками! Потом студент тихо завыл, застонал и словно спугнул Станислава. Он воровато спустился в свою комнату, схватил альт, но играть не смог – перед глазами всё ещё конвульсивно двигались обнажённые тела тётки и учителя.

В этот день он вообще не смог взять смычка, тряслись руки, словно у студента от голода, и от распирающего жара краснело в глазах. Так что пришлось соврать, что вчера долго гулял, простудился под дождём, и у него жар, а может, воспаление и лихорадка: в общем, смущённый и подавленный, лепетал учителю что-то мутное, невразумительное и уже испытывал ненависть.

Мысль пойти к тётке возникла у него в тот же час, как ушёл учитель, но раньше обычного вернулись чем-то сильно озабоченные родители. На следующий день музыкальный урок был назначен на утро, но Станислав запер входную дверь изнутри и поднялся в мансарду Августы.

– Вчера я всё видел, – сказал он, с неведомым ранее любопытством разглядывая тётушку, которая жила у них в доме уже четвёртый год.

– Что ты видел, мальчик? – засмеялась и насторожилась она.

– Как вы занимались с Вацловом! Музыкой!..

Гуте было тогда семнадцать, родители говорили о замужестве и будто бы подыскивали ей стоящего жениха из детей отцовских знакомых. Один такой даже часто приходил к ней в мясную лавку, где тётя работала три дня в неделю, но с утра и до вечера.

Она сразу же догадалась, что Станислав мог видеть, но ничуть не испугалась и даже не смутилась.

– Занимались, ну и что? – с вызовом спросила. – Подглядывать низко и подлю!

– Я тоже хочу заниматься с тобой, – заявил он, раздраемый чувством стыда и желания.

– Чем?

– Музыкой, как Вацлав!

– Тебе нельзя! – отрезала она, однако уже не так решительно. – Ты ещё маленький.

– Я не маленький, – чужим, грубовато-мужским голосом произнёс он. – И хочу заниматься, с тобой. Вацлаву можно, а мне нельзя?

– За Вацлава я, может быть, замуж пойду!

– Тебя не отдадут!

– Почему?

– Он нищий студент!

– А ты женишься на мне? – Гутя смеялась и дрожала от страха.

– Если бы ты не занималась с учителем – женился бы, – ревниво произнёс он.

И стал как-то по-ребячьи ощупывать тётю, словно впервые видел. Оказывается, у неё была такая манящая грудь, которую бы он никогда не заметил, если бы не увидел вчера обнажённой. Гутя всегда носила застёгнутые до горла платья, глухие жакеты и длинные юбки, поэтому и мысли не возникало, что у неё есть под одеждой. А сейчас была в деревенском льняном платье со шнуровкой на груди, под которым угадывались все прелести её тела.

– Стасик, ты с ума сошёл? – спросила Гутя с дрожью и испугом, однако же не уходя от его рук. – Ты же мой родственник!

И тут голос оборвался, как басовая струна, в горле что-то лопнуло, и занял кадык. Каким-то детским, натуженным фальцетом Станислав выдавил:

– Тогда я всё скажу родителям!

– Только посмей! – бессильно выкрикнула она. – Как тебе не стыдно?..

В этот момент в ней тоже что-то оторвалось. Тётя засмеялась и заплакала одновременно, потом встряхнула своими белесыми, сыпучими волосами и задышала в лицо.

– Стасик, а ты сможешь? У тебя там... уже что-то есть?

И полезла руками в его брюки, торопливо расстёгивая тугие пуговицы. Ладони у неё были ледяные, неприятные, но вмиг стали горячими и желанными, когда наткнулись на что-то и замерли.

– Ладно, Стасик, – прошептала, щекоча волосами, – давай попробуем... Если у тебя получится. Снимай брюки!

Она уже приготовилась к приходу учителя, развязала шнурок на груди, спустила к ногам деревенское платье и легла на кровать совершенно голой. Тело у неё было округлым, мягким и трепещущим, казалось, оно даже на расстоянии излучает манящее тепло и затаённый, как её полуулыбка, мерцающий свет. К нему хотелось прикасаться, оглаживать его и, погружаясь лицом, как в искристую солнечную воду, пить. Он больше никогда в жизни не испытывал подобных чувств к женщинам, даже самым обольстительным и опытным.

Станислав выпутался из брюк, но в этот миг пришёл учитель и стал крутить звонок у входной двери. Сначала они оба замерли от этого звука, словно застигнутые врасплох воры, но Гутя быстро справилась с замешательством и потянулась к нему руками.

– Пусть звонит... Иди ко мне, мальчик!

А он в тот же миг понял, что уже ничего не сможет. Прекрасная, пьянящая тётюшка лежала перед ним, заманивая открытостью и доступностью, от которых качался пол и слезились глаза. Но жар, бывший всего мгновение назад, улетучился, оставив мокрый след на трусах. И тут ещё учитель принялся стучать в дверь!

– Ну вот! – разочарованно и почему-то счастливо засмеялась Гутя. – Ты ещё ничего не можешь! Ты совсем маленький!

– Хочу, как учитель, – однако же мужским голосом заявил он. – Чтоб ты стояла.

– Ах ты, мальчик мой! – она вскочила. – Надо, чтобы ты стоял!..

Много лет он потом вспоминал это мгновение и всякий раз оставался с убеждением, будто в тот миг на его месте вдруг возник кто-то другой, сильный, беспощадный, жестокий. На секунду вошёл, вселился и одним тяжёлым ударом сбил тётю с ног, так что она укатилась в угол кровати. И осталась там лежать, голая, незащищённая, смертельно обиженная, но не уронившая ни единой слезы.

– Так мне и надо! – мстительно произнесла Гутя. – Бей меня, мальчик! Бей, мой чистый ангел! Я это заслужила!

А он изумился и испугался того, что натворил, что подглядывал вчера, что посмел бесстыдно ворваться к ней и требовать близости. Этот сильный и жестокий испарился так же быстро, как плотский жар, оставив мокрый след слёз на лице. Они сначала наворачнулись, накопились в глазах и потом хлынули ручьём, Станислав упал на колени и стал просить прощения, умолять, целовать мягкие безвольные руки.

– Прощаю, прощаю тебя, – уже как ребёнка утешала она. – Ну что ты? Перестань, сама виновата... Иди к себе! Я никому не скажу. И ты теперь не скажешь. Только Вацлава не впускай!

Гутя больше всего боялась, что её отошлют назад, в захудалую деревню, где она пропадёт. Тогда он ещё не знал, почему дальняя бедная родственница живёт в их доме.

Станислав убежал к себе, но возвращался, видел разбитое лицо, багровый, назревающий синяк и опять просил прощения, целуя руки. Тётя уверяла, что простила, что всё забыто и

никогда не вспомнится, что они снова будут дружить, как прежде, и учиться музыке. А родителям она скажет, будто упала с лестницы – ступени в мансарду и впрямь были крутые.

Но лучше бы она не говорила про учёбу, потому как перед глазами вставал голый, стонущий и нависающий над ней Вацлав, который всё ещё бродил возле дома и стучал время от времени. Ненависть к учителю вспыхнула так ярко, что этот, сильный и жестокий, вновь вселился в него и потряс кулаками.

– Я убью его!

Студент словно услышал угрозу, перестал стучать и исчез.

– И ещё убей своего папу! – зачем-то мстительно и горько вымолвила она.

Станислав убежал к себе, поскольку вот-вот должны были вернуться со станции родители, и, мечась по комнате, переживал всё заново. Он плакал и всё время насухо вытирал лицо, чтобы не заметили слёз. И так натёр, что оно загорелось и сделалось красным, как у Вацлава. Потом лёг, съёжился, показавшись себе маленьким, несчастным, и внезапно заснул. И проснулся поздно вечером от того, что Гутя сидела рядом и гладила его по волосам.

– Родители не пришли, – сообщила она, отдёргнув руку. – Мне страшно...

Дома было холодно, потому что куда-то пропал и слуга – не принёс угля из сарая и не затопил печи. Лицо у тётки распухло, глаза заплыли, и близость её тела почему-то больше не вызывала обжигающей плотской страсти. Возможно потому, что было студёным, напряжённым и на ощупь словно окостеневшим. Чувство вины всё ещё колючим комом топорило во всём его существовании, но Станислав молчал и только гладил её поникшие, полуголые плечи. Они сначала сидели на кровати, прижавшись друг к другу от холода, потом, несмотря на опасность появления родителей, забрались под одеяло. Как-то незаметно оба согрелись, и в нём опять проснулась ревность, затмившая предощущение грядущей беды.

– Зачем ты занимаешься с учителем? – спросил он ломким голосом. – Он же мерзкий, красный и веснушчатый!

– Назло твоему папе! – мстительно призналась она.

И вдруг рассказала, почему отец приютил бедную родственницу в своём доме и всячески её опекает. Оказывается, три раза в неделю, когда Гутя работает в мясной лавке, он приходит туда, запирает дверь и делает то же самое, что учитель музыки, но уже без всякой какофонии. И это продолжается четвёртый год – всё время, пока она живёт в Белостоке.

В этот миг он возненавидел отца и мысленно поклялся каким-то образом отомстить ему. Он хотел этого так страстно, что молитва была услышана. До утра они с тёткой так и не уснули, испытывая ненависть ко всему окружающему и друг к другу, а в седьмом часу в дверь застучали и по-немецки потребовали отворить. Сначала дом обыскали, перевернули всё вверх дном, но ничего особенного не нашли кроме продуктов с интендантских складов. Станислав с тёткой уже принялись наводить порядок, однако немцы снова пришли и выгнали их на улицу, повесив на дверь свой замок. Они и сказали, что родители сидят в тюрьме, а дом преступников и всё имущество, в том числе и мясные лавки, подлежат реквизиции в пользу армии.

Первую сиротскую ночь пришлось пережить в угольном сарайчике, закутавшись в тряпье, но пришёл интендант и велел убираться прочь. Их приютили соседи, предупредив, что ненадолго, и чтобы искали себе жильё и работу, поскольку держать в доме родственников арестованных очень опасно. Оказывается, отец и мать Станислава были связаны с какими-то польскими бунтарями, выступающими против германской власти, и, пользуясь её доверием, воровали со складов оружие и боеприпасы. Студента Вацлава сначала тоже арестовали, но потом выпустили, и он надолго куда-то исчез.

У соседей они прожили около двух недель, но однажды приехали немцы и увезли с собой Августу. После этого Станислав опять очутился на улице, ночуя где придётся, чаще всего прокрадываясь во дворик своего пустующего и никем не охраняемого дома. Это и побудило его забраться внутрь через мансарду, чтоб взять тёплую одежду и припрятанную на чердаке

копилку, где было немного денег, которые они с тётёй собирали для бедного учителя. Но, оказавшись в родных стенах, он в первую очередь взял виолончель и собирался не играть на ней, а продать, потому как знал, что она самая ценная из всех инструментов – остальное всё было дешёвое, ученическое. Одевшись потеплее, Станислав выбрался на улицу, в ту же ночь предусмотрительно ушёл в другой район города, чтобы случайно не узнали. И утром решил сбыть дорогой инструмент. Он прекрасно знал, будучи сыном торговца, что товар следует показывать лицом, поэтому достал из футляра виолончель и стал играть. А прохожие стали останавливаться, заслушиваться и бросать деньги, в том числе, немцы и венгры: должно быть, от отчаяния он играл хорошо и проникновенно. Ещё тогда ему в голову пришла совершенно взрослая, зрелая мысль, что настоящий музыкант должен быть непременно гонимым, нищим и голодным.

И в тот же день он решил не расставаться со счастливым инструментом, поскольку денег хватило, чтобы поесть и переночевать в частной ночлежке. А цены даже на дорогие виолончели были такими низкими, что отдавать было жалко; часто подходили и предлагали продать. И так Станислав играл больше месяца, быстро привыкая к новому состоянию уличного музыканта, и только спал плохо, поскольку каждую ночь ему снилась тётя, обнажённая и зовущая. И каждую ночь он смог бы сделать с ней всё ещё лучше, чем студент, и это пробуждало, заставляя плакать. Он тихо ревел в ватную ночлежную подушку, сам не зная, отчего так щемит душу, и текут слёзы.

Станислав бы окончательно привык, и хватило бы денег снять жильё, но в день его рождения, как подарок, появилась Августа. Она бросилась к двоюродному племяннику, как к брату, обцеловала, обласкала и тут же повела к себе. От неё пахло смесью женского пота, одеколона и почему-то детской тальковой присыпкой. Оказывается, немцы подержали её совсем немного, отпустили, и она нашла себе работу, очень хорошую, и всё это время ходила по городу, искала двоюродного племянника. Теперь они беззаботно заживут вместе, под одной крышей, без учителя музыки и ненавистного благодетеля, родителя Станислава. И сегодня они отметят его день рождения, а потом он, Станислав, будет учить её музыке...

Это она нашёптывала ему на ухо, пока шли переулками к дому, где тётя обустроилась на жительство. Комната оказалась просторной, чистой, неплохо обставленной, даже с водопроводом и ванной отгородкой. Две недели в дешёвых ночлежках он не менял белья (не догадался прихватить из дома), зарос грязью, чесался и вонял. Гутя нагрела воды на примусе, сама раздела племянника и стала мыть, как-то по-матерински обходясь с его телом. А сны у Станислава были свежи, и он почуял прежнюю тягу к тётё, стал ощупывать её, будучи мокрым, взъерошенным и страстным, словно петушок под дождём. Она же как-то лениво и бесстрастно лишь отводила его руки и сладко увещевала:

– Ну, погоди. Дам, не бойся, мальчик. Ты получишь свой подарок на день рождения! Я же вижу, ты теперь сможешь, тебе исполнилось четырнадцать лет!..

От предчувствий у него заболела голова и поясница, но тут случилось непредвиденное: едва она закончила мытьё и стала обтирать полотенцем, как в дверь постучали. Гутя отлучилась на миг и, вернувшись, сообщила, что её срочно вызывают на работу.

– Вернись, и получишь свой подарочек! – горячо прошептала она, схватила сумочку и унеслась.

В последний миг он заметил, что тётя изменила чопорный стиль, носит короткую юбку и туфли на высоком каблуке. Станислав уже довольно пожил бездомным, уличным, знал, как одеваются проститутки, и это заронило огонь сомнений в благополучности жизни тётя. Он отгонял мрачные, пугающие мысли, осматривался, бродя по жилью тётя, и всё сильнее убеждался в том, что старательно отвергал. Он не знал назначения многих женских предметов, например, нижнего шёлкового, фривольного белья, всевозможных бархатных подушечек, валиков на широченной кровати, затянутой белым газовым полотнищем. Ничего подобного он не видел в

своём доме, но догадывался, что всё это служит для удобства совершать то, что Гутя совершала в паре с его отцом, с учителем музыки и что обещала ему.

К полуночи он был почти убеждён: тётя продаёт своё прекрасное, манкое тело, свою красоту и ласки! Продаёт, как ещё недавно мясо в лавке, и почти этого не скрывает, иначе бы никогда не надела короткой, до колена, юбки и шёлковых, чёрных чулок на подтяжках. И не говорила бы так вольно, беззастенчиво о своём подарке...

Наутро всё подтвердилось: Гутя пришла с работы слегка пьяненькая, опустошённая и с совершенно отсутствующим взором. Станислав сделал вид, будто спит, а сам незаметно наблюдал за тётей. Сонно тыкаясь и роняя предметы, она согрела воды, стащила с себя одежды и, забравшись в ванную, принялась отмываться, словно после месячного житья в ночлежках.

– Ты же не спишь, мальчик мой, – позвала она между прочим. – Сейчас освежусь и приду... Только дай мне поспать часа два, ладно? Работы было очень много...

Легла и мгновенно уснула как-то по детски, засунув пальчик в рот. Станислав тихо встал, взял футляр с виолончелью и ушёл, поклявшись себе никогда не возвращаться.

Он выбрал новое место, возле ратуши, куда проститутки не допускали, и стал играть там, рискуя быть узнанным. Однако странное дело, люди не признавали его, даже хорошие знакомые отца, часто бывавшие в их доме. Они слушали, бросали мелочь и уходили – возможно, никак не соотносили уличного музыканта и сына известного в городе, богатого лавочника и оркестранта. Но возможно, не хотели признавать, дабы никто не заподозрил связей с польскими бунтарями при германской власти.

И если так думали, то были недалёковидными и глупыми. Оружие с немецких складов, украденное расстрелянными родителями, свою роль сыграло: в Варшаве оккупантов разоружили, к власти пришёл Юзеф Пилсудский, и германская власть была низвергнута. Польша праздновала освобождение, изумлённые переворотом люди гуляли по площадям, платили щедрее, и проститутки пустили к ратуше.

Здесь и нашла его Августа. Теперь она опять была в глухом жакете и в чёрной шляпке, клялась и божилась, что никогда не станет заниматься прежним ремеслом, что это немцы вынудили её, угрожая расправой. И позвала Станислава к себе. Она и в самом деле жила уже в другом месте, устроилась приходящей домработницей в богатую семью, и жизнь на несколько месяцев вроде бы наладилась. О прошлом ничто не напоминало, пока внезапно не появился веснушчатый учитель музыки. Но теперь уже не с уроками, а как чиновник новой власти: оказывается, он принадлежал всё-таки к бунтарям и заслужил должность у Пилсудского. Он стремился совершать великие поступки, верно мечтая потом тоже стать великим музыкантом – ходил теперь в круглых очках, с папкой, был сытым и огнелицым. Станкевич несколько раз видел его издали, узнавал, однако из застарелого неприятия ни разу не окликнул, напротив, стремился уйти в сторону и не попадаться на глаза.

Однако Вацлав сам услышал игру Станислава неподалёку от дворца Браницких и узнал его не в лицо, а по манере исполнения.

– Великий музыкант! Это говорю вам я!

И этим словно подкупил. Не следовало бы поддаваться на похвалу, но сработала зависимость ученика перед учителем. Станислав сдуру рассказал ему о тётушке, не выдавая её мрачного прошлого, о погибших от рук немцев родителях и только тут узнал, что они не могут считаться героями Польши, потому что крали оружие с немецких складов и продавали его бунтарям, причём, за золото. Таким образом отец скопил целое состояние в драгоценностях и где-то его спрятал. Немцы не могли добиться, где, и казнили сначала его мать на глазах отца, затем и его. Поэтому, если он, Станислав, что-то об этом знает, то лучше признаться и выдать ценности новой власти.

Вместо злости и ненависти к рыжему студенту, Станислав почувствовал себя виноватым, стал оправдываться, что о золоте ничего от родителей не слышал. Вацлав будто бы поверил и ушёл.

Встреча эта уже начала забываться, но однажды Станислав вернулся домой и сквозь дверь, как в былые времена, услышал знакомую какофонию, исполняемую тётушкой. Он ушам своим не поверил, приоткрыл дверь и вновь онемел, оцепенел, как в первый раз. Гутя пиликала на скрипке, а учитель музыки пыхтел, преподавая урок и закатив блаженные глаза под стёклами круглых очков. Станислав давно пережил мальчиковый возраст, врываться и творить расправу не стал, а притворил дверь, оставив футляр с инструментом, и ушёл.

В этот же вечер он купил револьвер, опробовал его на пустыре и стал охотиться на краснорожего студента. Высмотреть его на улицах не составляло труда, власть в Белостоке располагалась во дворце Браницких, кроме того, студент ходил теперь в полувоенной форме и заметно выделялся в толпе. Станислав выследил, где он ночует, а вчерашний голодный оборванец жил теперь в солидном доходном доме. Было желание ворваться к нему, но он предусмотрительно прослонялся по окрестным дворам до тёмного, промозглого зимнего утра, и, когда Вацлав вышел, под свист дождя со снегом вогнал ему в спину три пули.

И, поражаясь своему хладнокровию, не убежал сразу, а сдёрнул очки с убитого и с удовольствием растоптал их на обледеневшей мостовой. Тот, сильный и жестокий, вселился в него не во время стрельбы, а потом, когда Станислав топтал очки. Вселился и уже никогда не покидал его существа.

Домой он пришёл как ни в чём не бывало, хотя в пути, удовлетворённый от совершённой мести, несколько прозрел и начал понимать, что ему будет за убийство чиновника. И, чтобы снять с себя подозрения, рассчитывал взять инструмент и выйти к дворцу играть, хотя зимой играл редко и только в тёплую сухую погоду – берёт виолончель. Проницательная тётушка что-то заметила, но себя никак не выдала и только сказала, что он стал совсем взрослый. И вот теперь она готова была отдаться ему не из жалости, как раньше, и не в качестве подарка, а как сильному мужчине. Веснушчатый учитель, верно, пробудил в ней прежнюю страсть и воспоминания, однако о его новом уроке она помалкивала.

– Я отомстил за тебя, – признался Станислав. – Я его застрелил.

Гутя словно уже знала об этом, сказала сдержанно:

– Благодарю, пан... Что ты сейчас хочешь?

– Мне ничего не нужно.

– Даже благодарности и поощрения? – она ещё пыталась как-то соблазнить его, трогала, улыбалась и дышала в лицо. – Ты первый мужчина, не требующий награды.

Он тогда задал вопрос, который его мучил все последние месяцы.

– Скажи, зачем ты пилила на скрипке, когда учитель с тобой занимался?

Раньше он думал, тётушка делает вид, будто учится играть. Чтоб не было подозрений.

– А он по-другому не мог, – почти весело рассмеялась она. – Пока играю я, играет он... Ты как хочешь? Может быть, тебя тоже нужно стимулировать? Скажи, для тебя всё сделаю.

– Мне нужно скрыться, – заявил он, – на время. Береги виолончель.

И ушёл, не сказав куда.

Три месяца, до самого лета, он прятался у знакомого старика-еврея, который раньше каждый день приходил к ратуше слушать музыку. Этот старик знал все новости в городе и приносил их постояльцу. Он и сказал, что полиция ищет Станислава, каким-то образом вычислив причастность уличного музыканта к убийству чиновника. Потом старик с горечью сообщил, что Августа продала виолончель какому-то любителю инструментов из Варшавы, но он знает кому, и есть возможность впоследствии её выкупить.

Он так любил свой инструмент, что готов был немедля лететь к тётушке и устроить спрос, но жизнь опередила и наказала: у Гути оказался сифилис в опасной стадии, и, не зная о том, она заразилась богатого хозяина, в доме которого трудилась и считалась не домработницей, а содержанкой. По его доносу тётю арестовали и хотели судить, но скоро отпустили. Тогда вообще

открыли все тюрьмы и каталажки, поскольку на Белосток уже наступала Красная армия, и власть Пилсудского бежала из города.

Станислав тоже вышел из своего укрытия, как волк с вынужденной лёжки – пустой, оборванный и с голодным блеском в яростных глазах...

4

Лабаз оказался действительно сооружением знакомым и хитроумным, только вот о существовании таковых он забыл напрочь. На трёх высоких столбах стоял невеликий, сажень на сажень, плотно рубленный амбарчик венцов в шесть, с крышей из толстенных плах и такой же дверью. По всем приметам, здесь был когда-то широченный двор богатой крестьянской усадьбы, теперь заросший молодым лесом, кустарником и высокой травой. И сохранилось в целости всего два сооружения – тесовые ворота под крышей и этот лабаз, которым, вероятно, ещё пользовались. Строили их чаще в лесных районах, где опасались не только проворного дикого зверя, мелких грызунов и моли, но скорее воровитых, пришлых людей, дабы спрятать на видном месте самое ценное – добро, меховую зимнюю одежду, пушнину и провиант. Забраться без лестницы мудрено, тем паче, проникнуть тайно: всякое движение видать за версту, а народ здесь и впрямь жил лихой, редко кто не возил с собой заряженную фроловку, а чаще трёхлинейку или обрез. И вообще, оружия у местного населения было несчётное количество и самых разных эпох. Только в бытность Станкевича его выгребали из разбойничьих закровов дважды, изымали всё, вплоть до старинных фузей и мушкетов, а стволов ничуть не убывало. При этом на территории не было ни войн, ни бунтов, если не считать нашествия поляков и знаменитую историю с Сусаниным.

Так что подумаешь, откуда прилетит, прежде чем штурмовать эту крепостицу на трёх высоченных столбах.

Но более чем пули и сами местные, и пришлые опасались заклятий и оберегов, поставленных на каждый лабаз. На иных даже лестницы были, приставные или в виде поперечных перекладин по одному из столбов, словно приглашающие к ограблению – забирайся, ищи поживу! И добро, если, поднявшись до середины, ощущаешь, как охватывает безотчётный страх или начинает казаться, будто лабаз рушится на тебя. Чаще ни с того ни с сего смельчак срывался с последних ступеней, падал с высоты пяти-восьми метров и ломал себе спину, шею, или от удара отрывалось сердце. Что его столкнуло, почему сорвался, уже и не спросишь.

Возле таких лабазов Команда Станкевича потеряла трёх человек, это не считая ранения его самого и увечья ещё одного местного милиционера. И только после этого пришлось отдать приказание жечь лабазы, не делая попыток проникнуть внутрь: огонь был единственным бойцом, которого не держали человеческие заклятья. А прятали там оружие, ценности, подлежащие реквизиции, в основном – награбленное на больших дорогах, и ещё лиц, подлежащих аресту и препровождению в центр.

Бабушку лесничего, Василису Ворожею, он помнил точно так же, как свою тётю Августу. Обе эти женщины, а точнее, память о них, преследовали его много лет, пока он не искупил вину, оказавшись в мостостроительном лагере Гулага, куда угодил за эту же девицу.

По крайней мере, там и Гутя, и Василиса перестали сниться, а потом и вовсе будто бы убрались из его вольных и невольных воспоминаний.

Василиса хоть и была причастна к местным колдунам и чародеям, однако на допросе выяснилось, ничего зловредного не совершала, даже стыдилась своего родства с ними, и, где-то наслушавшись агитации, мечтала вступить в комсомол, поехать на стройку или выучиться и потом учительствовать на севере, у туземцев. Вести о новой жизни долетали и в такую глухомань, а в Замараево открыли даже избу-читальню и провели радио. Исправлять что-либо в выданном центром ордере на аресты ему было запрещено, однако в особых случаях Станкевич имел право поставить прочерк, означавший, что подозреваемый физически отсутствует в этом мире. Иными словами, погиб при попытке задержания, для чего следовало написать и приложить рапорт о случившемся. Он так бы и сделал, отписавшись, что означенная девица сама бросилась в реку и утонула, но среди бойцов его Команды были доверенные люди Комиссии,

писавшие свои секретные отчёты, и Станкевич знал, что его документы могут быть проверены. Поэтому пришлось договориться с Василисой, чтоб разыграть утопление.

А эта своенравная девица на глазах у бойцов и местных жителей прыгнула в омут с камнем на шее. И в самом деле, утопилась! Односельчане выловили её неводом через несколько часов, безропотно завернули в холстину и понесли родителю, Анкудину Ворожею, который в списках тогда не значился. Зловредный Анкудин чуть бунт не поднял. Пришлось Команде стрелять по верх голов пришедших разбираться вдохновлённых им жителей. Утопленницу схоронили на кладбище, поскольку местные церковных обычаев не чтили, а священников тут не бывало полвека, шарахались с тех пор, как последний монашествующий поп расстригся, взял замуж местную ведьму и ушёл в леса.

Станислав видел сам, как несли Василису на кладбище, уже распухшую от жары и смердящую, видел, как заколачивали гроб и опускали в могилу, а своим глазам он верил безоглядно. На похоронах он не присутствовал, чтобы не дразнить местное население, наблюдал издали, незаметно, и если бы ещё были слёзы, то бы, наверное, плакал. А так лишь непроизвольно стискивал кулаки и гонял тяжёлый, царапающий кадык по горлу, который ему когда-то мешал играть на скрипке.

В эту же ночь она приснилась ему мёртвая, сине-голубая, как русалка, и простоволосая.

– Хочешь, приду к тебе живая? – спросила вкрадчиво голосом тётушки Гути. – Ты же меня хочешь? Я это видела, когда пытал. И когда сговаривал утопиться понарошку... Ты же влюбился в меня, товарищ Станкевич! Как в тётушку Гутю... Ну, хочешь или нет?

– Не хочу! – крикнул Станкевич и проснулся, разбудив товарищей по Команде.

Невзирая на специальный подбор бойцов, верных делу революции и психологически выдержанных, во сне многие кричали и разговаривали, так что на это никто внимания не обратил. Да и сам Станислав помнил сон до полудня, а потом в делах замотался и напрочь забыл. И вечером, когда Латуха, председатель комбеда, сказал, дескать, у него баня протоплена, не желает ли попариться – не вспомнил, однако согласился. У всех тут бани были по-чёрному, первобытные, дикие, даже заглядывать приходилось с опаской, чтоб сажей не перемазаться, а у Латухи – по-белому и совсем новая. Отправился без задней мысли, в предбаннике разделся, взял керосиновый фонарь и вошёл в парную. А Василиса сидит на полке, венником играет и говорит:

– Ну, иди ко мне, попарю!

Не такая, как во сне – живая, розовая, уже разогретая жаром и улыбчивая. Станкевич не страдал набожностью и суеверием, но тут слегка оторопел в первый момент, больше от неожиданности. А девица засмеялась и говорит:

– Да не бойся меня! Мы же уговорились понарошку в омут. Вот я и притворилась утопленницей. Не веришь, так пощупай.

Он и в самом деле приблизился, потрогал руками, даже понюхал – горячая, живая, пахнущая терпкими травами!

– Тебе нужно не в комсомол, – сказал однако же натянуто, – в театральную студию Станиславского.

– Отблагодарить тебя хочу, – обняла его за шею и прижалась. – От смерти спас... Примешь от меня награду? Ты мне тоже приглянулся, товарищ Станкевич. Ты сильный!

И всё это обволакивающим голосом тётушки Гути. А тут ещё запахи в парной особенные, будоражащая трава запарена, вот Станислав и потерял контроль над собой и ситуацией.

Парились они так часа полтора, до изнеможения, и когда Станкевич повалился на пол, Василиса зачерпнула ковшом из кадки и поднесла к губам.

– Пей!

Он подумал, холодная вода, напился и только тогда понял – это самогон! Не поверил, сам зачерпнул из той же кадки, попробовал – натуральная горилка, которой хохлы торговали

в Белостоке. Крепкая, бодрящая, хоть в пляс пускайся! Станислав плеснул на каменку – синее пламя взметнулось, и откуда силы взялись – ещё целый час парились, а может и больше: в хмельной голове всё затуманилось, заволокло паром.

Потом Станкевич вышел в предбанник, чтобы охолонуться, облился холодной водой, отдышался, заходит в парную, а там никого! Всё говорит о том, что была Василиса: кругом ещё не высохли следы её мокрых босых ног на полу, на потолке, ярко-жёлтые, золотистые волосы в сумраке светятся, даже отпечаток ягодич на полке! Спрятаться негде, хотя он и за каменку заглянул, и даже в кадку с самогоном. Должно быть, мимо прошмыгнула, пока он водой обливался, или привиделась Василиса...

Ошеломлённый, он даже попил из кадки – вода!

Тут у него и возникло подозрение, что наваждение это Латуха устроил, но впрямую не спросишь. Местный председатель комбеда считался единственным доверенным человеком, поддерживающим власть, милиции помогал. Но все они здесь были с причудами, а многие и вовсе приспособленцами, себе на уме. Станислав к Латухе в избу заглянул, за баню поблагодарить, а тот вроде стоит, улыбается, квасу ковш поднёс и спрашивает, показалось, будто с намёком:

– Как парок-то? И на каменку подбрасывать не пришлось? Баня у меня знатная, революционная. Натопишь раз, дак хоть сутки парься. Не то, что у этих старорежимных балдуев! Как пожелаешь ещё, так скажи. Я мигом споровую!

Жителей местных деревень все остальные называли балдуями. Что это означало, никто толком не знал, прилипло прозвище и всё. Только одна старуха по секрету сообщила, дескать, именовали так с незапамятных времён двенадцать белых чародеев, живших в местных лесах. Каждый из них сам по себе только лечить мог, но когда они собирались вместе, то могли творить чудеса, например, мёртвых оживлять, если тело человека не нарушено, бури останавливать, таёжные пожары тушить, в засуху дожди навлекать. Дескать, истинные балдуи и доньше есть, только меньшим числом, потому, де-мол, давно не собирались. Старуха из ума выживала, не понимала, с кем говорит, поэтому и сказала:

– Собрались бы, дак этой советской власти давно не было! Поганой метлой бы вымели лиходеев, всю державу очистили!

Арестовывать бабу Станкевич не стал, всё равно до Москвы живой не довезут, отпустил с миром, но на ус себе намотал.

От председателя Станислав прямиком отправился на кладбище могилу утопленницы посмотреть – на месте, крест стоит и никаких особых следов. Как мужики землю лопатами прихлопали на могильном холмике, так и есть. А в ушах до сих пор стоит шёпот Василисы:

– Знаю, тебя всё ещё тётушка мучает, не отпускает. Так я пробку эту вышибу. Теперь меня будешь помнить, искать по ночам. Я дева, как бражка сладкая, долго хмелить буду!

На следующий день надо было собирать подводы по деревням и переезжать в Чурилки за семнадцать вёрст, в самый глухой куст деревень всей округи. По оперативной информации там и собрался весь сброд, прячущийся от власти: местные разбойные люди, недобитые беляки, колдуны и ведьмы. Предстояло разыскать и арестовать шестнадцать человек, означенных в ордере Комиссии. Однако Станкевич перенёс поездку, ибо на утро и вовсе сделался зачумлённым. Проснулся от того, что Василиса его окликнула, а потом почудилось, не дежурный по Команде плошку с кашей ему ставит на стол, а она! Вокруг же не бойцы сидят и стучат ложками – будто их дети, и сколько – не сосчитать. Едят весело, жадно, с аппетитом и на него поглядывают. Но сморгнул, и исчезло видение...

Пятый месяц Команда рыскала по костромским лесам, исполняя поручение Особой Комиссии, местным чекистам передали уже три партии арестованных, дабы тех препроводили в центр, и ничего подобного не случилось. Конечно, чувствовалась усталость, и у бойцов в том числе: форма поистрепалась в лесах, за внешним видом не следили, коней давно не перековы-

вали, не чесали. Иные спали плохо, во сне маму звали, а самый бывалый и по годам старший, боец Эдгар Веберс, из латышских стрелков, после штурма очередного лабаза в Мухме вдруг замолчал и перестал есть. У Станислава на этот счёт были особые инструкции, но он исполнять их не спешил, думал, пройдёт, но соглядатаи, бывшие в Команде, донесли, и пришла шифровка передать латышского стрелка в ведение местного ОГПУ.

Ему было жалко расставаться с мудрым и обстоятельным Эдгаром, который был с ним вместе ещё в Отряде Особого Назначения при ВЧК. И ещё их сближало то, что оба плохо, с сильным акцентом говорили по-русски, хотя Станкевич всё время пытался исправить своё произношение и благодаря тонкому музыкальному слуху довольно быстро овладел языком. Но для Веберса русский оказался непосильным, хотя он до революции ещё изучал этот язык в Рижской гимназии. Другие бойцы особым интеллектом и образованием не были отягощены, представляя собой бывших кавалеристов Первой конной, матросов и рабочих-железнодорожников.

Пришлось исполнить приказание, Веберса отвезли в Чухлому и передали, Станислав почувствовал одиночество и с тех пор стал таить всё, что творится в голове и душе. Он быстро отыскал причину остаться ещё на сутки, проверил в Команде оружие, амуницию, лошадей, внешний вид и устроил разнос, приказал привести всё в идеальный порядок, непременно всем постирать форму, а сам отправился к Анкудину Ворожею.

После попытки бунта они не виделись. У Станислава были особые инструкции на этот счёт: в подобных ситуациях он имел право или передать местным чекистам бунтаря, или самому ликвидировать его, не привлекая к себе внимания: то есть, шлёпнуть тихо и желательно самому, без свидетелей и из оружия, традиционного для местности. Например, выставить огнестрельный самострел в его угожьях, застрелить из лука или, на худой случай, грохнуть из маузера, а дом поджечь. Но у Анкудина не было врагов среди местных, тем паче, расправляться с родителем Василисы он не собирался, зная при этом, что о его поведении непременно донесут Комиссии. На этот случай он отправил шифровку, что взял Ворожею в оперативную разработку, с целью через него выйти на некую Памфила, чуть ли ни главную ведьму, значащуюся в ордере под номером один.

Анкудин в округе был известен тем, что считался самым удачливым охотником-промысловиком и держал у себя на цепи огромного, старого медведя. Говорили, будто он имеет власть над дикими животными, а на звере по ночам катается, запрягая его в телегу. Станкевич подозревал, что он один из двенадцати настоящих балдуев, однако выяснилось, что про него много брехали: ему не повиновался даже домашний медведь и кусал его, когда хозяин терял бдительность.

Родитель был в горе по утопившейся единственной дочери и встретил соответственно; никаких примет пребывания живой Василисы Станислав не заметил, всюду виделись знаки скорби. Она любила полевые цветы, и вот теперь отец нарвал и положил их всюду, чего касалась её рука, в том числе, даже на печной загнеток. У Анкудина, по слухам, и жена была, но будто бы ещё давно ушла в лес и жила так, как местные ведьмы. Василиса была в ордерном списке на арест, но о её принадлежности к миру нечистой силы отец мог и не знать, поскольку у балдуев все тайны колдовства передавались по женской линии. По мужской это было лишь в двенадцати родах настоящих балдуев, которые уже порядочно захирели, а то и вовсе свелись на нет. Но женщины продолжали передавать ведьмачество и строго его хранить. Иные мужья и отцы даже не подозревали, с кем живут и каких дочерей плодят. Поэтому в списке значились в большей степени женские имена и лишь несколько мужских. И то их чародейство было сомнительным: некоторые мужики, видя лёгкость, с которой можно облапошивать доверчивых односельчан и пришлых, объявляли себя знахарями и колдунами. Но по природе ничего делать не умели, разве что обладали стихийным прозренческим талантом, иногда точно могли предсказывать грядущие события за несколько лет вперёд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.